

А. Е.
ЗАРИН

Двоевластие



Андрей Зарин

Двоевластие

«Public Domain»

1912

Зарин А. Е.

Двоевластие / А. Е. Зарин — «Public Domain», 1912

Роман «Двоевластие», представленный в данной книге, повествует о годах правления Михаила Федоровича Романова.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Часть первая | 5 |
| I | 5 |
| II | 12 |
| III | 19 |
| IV | 26 |
| V | 32 |
| VI | 39 |
| VII | 43 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

Андрей Ефимович Зарин

Двоевластие

Часть первая

Божий суд

I

Скоморохи

Князь Теряев – Распояхин едва женился, сейчас же отстроил усадьбу в своей любимой вотчине под Коломной. Быстрая речка омывала ее с задней стороны, на которой раскинулся огромный сад. Передней стороной усадьба выходила на проезжую дорогу и казалась маленьким острогом, так высок и плотен был частокол, так массивны были ворота со сторожевой башенкой. В беспокойное время строился князь – в то время, когда поляков и хищные войска самозванца сменили придорожные разбойники, когда грабеж и убийство творились и на проезжей дороге, и на городских улицах, и в самих домах. Нередко по службе царской князь Теряев отлучался из дома на долгое время и, дорожа покоем жены и своего маленького сына, выстроил прочные хоромы.

Тотчас за воротами был еще огород, а за ним уже шел широкий двор с мощеной дорожкой к теремному крыльцу. По сторонам были разбросаны служилые избы для охранной челяди, во главе которой стоял любимец князя и княгини, Антон. Дальше за ними размещались строения бани, конюшни, кладовок, погребов, повалушек {Повалуша – летняя спальня.}, а терем в два этажа с башенной пристройкой, крепкими дубовыми стенами, толстой дверью, тяжелыми ставнями стоял посреди крепких избышек, как богатырь во главе своей рати, и князь, выстроив его, с довольством бахвалился:

– Сам пан Лисовский наедет, так и от него со своими людьми отобьюсь.

В лето 7128–го по счислению того времени, а по нашему – в 1619 году, в жаркий полдень 11–го июня молодая княгиня Анна Ивановна вышла на заднее крыльцо терема посидеть на крылечке, подышать чистым воздухом и полюбоваться своим сыном – семилетним богатырем, который резвился на заднем дворе с сенными девками.

Крылечко было широко и просторно. Молодая княгиня сидела на верхней ступеньке на толстом ковре; подле нее стоял жбанчик холодного кваса, и она наслаждалась тихим покоем счастливой женщины.

Молода она и красива, даже дородной стала, и не намилируется с ней князь, когда дома. Думала ли она, внучка бедного мельника, в такой почет попасть? Чего Господь не делает! И она с умилением обвела кругом взглядом. Разгорелся ее Миша, распарился, черные волосенки, подстриженные кружком, сбились на лоб и завесили его сверкающие радостью и весельем глазки. Молодые, здоровые девки с веселым смехом гоняются с ним, играя в горелки, и летает он, соколом гоняясь за ними. Огромная радость для матери любоваться своим первенцем.

Для полного счастья молодой княгине не хватало только ее любимого мужа. Великое дело совершалось для всей Руси в это время; радость наполняла сердца всех, любящих своего царя. Из тяжкого польского плена возвращался Филарет Никитич, великий подвижник за свою родину, отец царствующего Михаила. Вся Русь делила радость своего царя, первого из Дома Романовых, и князь Терентий Петрович был отозван ради того случая в Москву. Любил его царь Михаил за его воинскую удаль, за смелые речи и решительный нрав. Любя, пожаловал он

его в окольничьи и скучал без него, несмотря на то, что сильные братья Салтыковы всячески очернить его старались.

Мягкий царь Михаил, хотя и склонялся под волею своей матери и ее приспешников Салтыковых, а все же не мог не ценить того, кто, не щадя живота своего, от молодой жены и сына – малютки ходил имать Маринку с Заруцким, и донского атамана с его шайкою, и всяких других разбойников, никогда не отказываясь от ратного дела.

Чувствуя вражду против себя царских клеветов, князь Теряев много раз говорил жене:
– Перейдем жить в Москву, там я палаты выстрою!

Но княгиня каждый раз отказывалась.

– Не привыкла я к городской жизни, князь, – говорила она, – не неволь меня. Люблю я простой обычай, да и сам знаешь, мне ли, глупой, угнаться за боярынями. Слышь, они и брови чернят, и щеки сурмят, и лицо белят. Где мне тягаться с ними? Только посмех всем будет!

И князь покорялся ей, находя в ее словах немало правды, и таким образом делил время между Москвою и Коломною.

Плотно покушала княгиня за обедом, сластей наелась, и теперь ее брала измора; то и дело прикладывалась она к жбанчику, чтобы освежиться. Но глаза уже начали слипаться, и княгиня поднялась, тяжело вздыхая. Вдруг до ее слуха донеслись звуки волынки и резкое бряцанье накр {Накры – ударный музыкальный инструмент типа парных литавр.}. Анна Ивановна приостановилась и окликнула одну из девушек:

– Матреша, сбегай до ворот! Глянь, никак потешные шумят.

Девушка стрелою помчалась на передний двор и через минуту вернулась, весело крича:

– Скоморохи идут!

Княгиня улыбнулась. Сон на время оставил ее.

Девушка подбежала к крыльцу и, едва переводя дыхание, быстро заговорила:

– И уж что за занятные. Почитай, полтора десятка будет. Медведя ведут с козю, а у других сопелки, домры, накры. Один с куклами, а другой с гудками. Старый – старый!.. Повели позвать.

– Повели позвать, княгинюшка! – смело заголосили сбившиеся в кучу девушки, а Миша, вбежав на крыльцо, обнял колена матери и запросил тоже:

– Повели, матушка! Золотце, прикажи!

И самой княгине хотелось развлечься. Она улыбнулась и кивнула головою.

– Ин быть по – твоему! – сказала она, глядя черную головку Миши, и приказала той же Матреше:

– Вели им к нам сюда идти!

Матреша вспрыгнула козю и скрылась за зданиями.

Княгиня снова опустилась на верхнюю ступеньку крылечка, маленький Миша сел и прижался к ее коленам, а девушки столпились у крыльца. Через несколько минут послышались шум шагов, осторожный говор, бряцание цепи, и из-за угла терема вышла толпа скоморохов. Они подошли ближе, остановились в почтительном отдалении – и земно поклонились княгине.

– Встаньте, встаньте, прохожие люди! – ласково сказала княгиня.

Скоморохи встали и выпрямились, держа в руках войлочные колпаки и гречишники {Гречишник – валяная войлочная шляпа.}.

Их было человек двенадцать, и они казались шайкою разбойников – так дерзок и лукав был их внешний вид. Впереди всех стоял поводырь с медведем. Огромный, с рыжей бороною, с одним глазом и черной дырою на месте другого, в сермяге и с босыми ногами, он производил отталкивающее впечатление. Рядом с ним, держа в поводу козу, стоял маленький паренек в пестрядинной рубаше, с лицом, изъеденным оспою, с жидкими волосенками на остроконечной голове; его раскосые глаза бегали во все стороны, а тонкие, бескровные губы растягивались до самых ушей. За ним стоял чудашник – высокий, слепой старик с угрюмым лицом, и рядом

с ним мальчик, державший гудок старика. А дальше стояла толпа рыжих, черных, белых обрванцев с беспечными лицами и наглыми взглядами.

– Куда путь держите? – ласково спросила княгиня.

Рыжий поводырь тряхнул кудрями и ответил:

– На Москву, государыня – матушка, слышь, там на три дня от царя веселие заказано...

– Так, так, – сказала княгиня, – к нашему царю – батюшке его батюшка ворочается.

– Дозволь потешить! – проговорил тот же поводырь.

– Что же, потешьте! Чем тешить будете?

– А что повелишь нам, смердам. Есть у нас и гудошник – песню споет, есть и куклы потешные, и медведь наученный, и коза – егоза, и плясуны, и сказочники. Что повелишь, государыня?

Девушки умоляюще взглянули на княгиню, и она, сразу поняв их желания, сказала:

– Ну, кажите все по ряду!

Рыжий великан поклонился и дернул медведя за цепь. Тот зарычал и поднялся на задние лапы, девушки с визгом сжались, как испуганное стадо. Миша прижался к коленам матери, да и сама княгиня побледнела, услышав страшный рев.

– Ну, ну, Мишук, поворачивайся! – грубым голосом заговорил косою поводырь. – Покажи на потеху честным людям для смеху, как лях кобенится, на красну девку зарится!

– А ты, коза – дреза, пляши для веселия, как смерд с похмелия! – загнул его товарищ, дергая козу за рога.

В это время загремел деревянный барабан, зазвенели накры (род теперешних тарелок), затрубил рожок, и началось представление. Коза с усилием поднялась на задние ноги и завертелась на месте, а медведь, рыча, поджал передние лапы, словно в бока, и, откинув голову, стал важно ходить взад и вперед.

Лицо княгини озарилось улыбкою, девушки, поджав руками животы и перегибаясь, звонко смеялись.

– А покажи теперь, как этот лях до лесу утекает, – продолжал поводырь.

Медведь стал на четвереньки, жалобно замычал и поспешно побежал под ноги своему хозяину, а коза то опускалась на передние ноги, то вновь поднимала их и опять вертелась. Показал медведь, как девки горох воруют и как баба в кабак идет похваляется и, из кабака выйдя, по земле валяется.

Потом его сменили плясуны. Четыре парня под музыку затеяли пляску.

Подробного описания тогдашней скоморошьей пляски до нас не дошло, но, по словам Олеария, срамота этих плясок была неопишима. И с ним можно согласиться, судя по тому рисунку, который он сделал, изобразив одну из «фигур» двух пляшущих скоморохов. Современный писатель не решается описать этот рисунок, но в тогдашнее время понятия о приличном и неприличном были иные, и теремные девушки без всякого зазора потешались скоморошьям плясом.

После плясунов выступил мужичонка с куклами. Он надел на себя нечто вроде кринолина, потом вздернул его выше головы и образовал таким образом некоторое подобие ширмы, из-за которой стал показывать кукол, говоря за них прибаутками (некоторое подобие современного Петрушки).

Девушки покатывались со смеха, Миша не отрываясь смотрел на кукол загоревшимся взором, и княгиня милостиво улыбалась скоморохам...

А потом выступил гудошник и, перебирая струны гудка, запел заунывную длинную песню о том, как Шуйские погубили славного Скопина, как пришел он на пир и жена его дяди подносила ему чару зелена вина, как замутилась голова его с того зелья, что было подсыпано в вино, и как привезли его умирающего домой, где горьким плачем и воплями встретила его тело молодая жена.

Затуманились все, слушая заунывный, гнусливый речитатив под скорбное гудение струн, и по белому лицу княгини скатилась слеза. Но скоро грусть, навеянная песней, сменилась истомою, и княгиня поднялась с крылечка.

– Ну, люди добрые, потешьте девушек, – приветливо сказала она, – а я пойду.

Она хотела уйти, но вдруг приостановилась.

– Дуня, – сказала она, краснея, – принеси ломоть хлеба, да посоливши.

Девушка побежала, а поводырь, быстро сообразив в чем дело, дернул медведя и подвел его к самому крыльцу.

– Вещун он у меня, – вкрадчиво сказал он.

Дуня принесла ломоть. Княгиня боязливо подала медведю хлеб, и тот, взяв его, глухо замычал от удовольствия.

– Замычал, замычал! – закричали девушки.

– С князинькой! – нагло сказал поводырь, низко кланаясь.

Княгиня вспыхнула, как маков цвет, и сказала, обращаясь к пожилой девушке:

– Мишу наверх отведешь, немного погодя, а их Степанычу накормить вели, да пиво пусть выставит! – и она вперевалку пошла в покои, где было полутемно и прохладно.

– Ну что вам, девушки, любо? – совершенно меняя тон, спросил рыжий. – Сплясать, что ли?

– А хоть спляшите, а там опять кукол, – бойко отозвалась Матреша.

Пожилая девушка села подле Миши и ласково обняла его. В это время Миша вдруг вскрикнул. Ему показалось, что слепой старик стал зрячий и пристально смотрит на него.

– Что ты, родимый? – встревожилась девушка, но Миша уже оправился и смотрел на скомоший пляс, а в это время слепой гудошник под грохот нестройной музыки сказал рыжему:

– Как его ты возьмешь, Злоба? Ишь сколько девок вокруг. Какой вой подымут!

– Не бойся! – ответил Злоба. – Коли Пospelко взялся, так ногу из стремени скрадет, не то что! – И он толкнул в бок раскосого поводилицы козы.

– Удумал, Пospelко?

Тот ухмыльнулся.

– Беспременно заночевать надо, – сказал он.

До самого заката солнца потешали скоморохи всю дворню и так уважили, что Степаныч, княжий дворецкий, не только отпустил им пива, но даже выставил красоулю {Красоуля – кружка, чаша.} крепкого меду. Поздним вечером сошли сверху и сennые девушки, и много времени продолжалось бражничество в княжеской усадьбе среди дворни и скоморохов.

Рыжий стал спрашивать Степаныча:

– Чья усадьба-то будет?

– Князя Теряева – Распояхина, – коснеющим языком ответил Степаныч. – Первеющий князь! Теперь у царя, у батюшки, в окольных. Во – о! – И он поднял вверх корявый указательный палец.

– Один сынок-то?

– Как перст. Теперь княгинюшка опять понесла. Пошли ей Бог здоровья!

– Хороша княгинюшка ваша! – вернул свое слово косоглазый Пospelко.

– Золото! – вмешалась Дунька. – Она из простых, вроде как мы с Матрешкой, ну, и душа с нами!

– Ишь ты!

– Антон сказывал, что князюшка нашего ляхи посекли, он его на мельнице укрыл, а она, выходит, княгинюшка-то наша, там за ним и ходила, раны заговаривала.

– Ратный человек?

– Наш-то? Первый воин. Он и ляхов бил, и Маринку изловил, а впоследствии самого дьявола сымал. Вот он какой!

– А что же у вас ратных людей нету? – спросил слепой старик.

– Ратных-то? У нас полтора сорока {Сорок – старинная единица счета.} ратных людей, а сейчас всего десять – потому что князь их на Москву увез. Для почета, слышь!

А пьянство шло своим чередом, и к полуночи половина пирующих лежала под лавками.

В то время Поспелко толкнул Злобу и вышел с ним на двор.

– Идем, что ли, – сказал он.

Злоба даже опешил.

– Красть?

– Уготовиться, дурья голова, – ответил Поспелко. – Иди, что ли, мне твоя сила нужна. –

Он обогнул терем, перешел задний двор и спустился в сад. Перейдя его поперек, он остановился у высокого тына и сказал, указывая на крепкий столб:

– Расшатать да вытащить его надобно. Вот что! Мы подкопаем его, а там палку подложим, ну и подыдем!

– А для чего?

Поспелко засмеялся.

– Тебя на место его поставить: дубина, право слово! Зачем тын ломают? Да для того, чтобы дорогу иметь, шучья кость.

– Ну, ну, комариный зуд, – проворчал рыжий, – и сам знаю. А зачем ход?

– Ход-то? Слушай! Поутру мы уйдем, я кругом обегу да через это место в сад и влезу. День прокараулю и скраду его, а скравши – к вам. Вы меня в перелеске ждать будете. Понял, что ли? – и он ткнул рыжего великана под бок.

Тот не ответил, но, судя по тому рвению, с каким он начал своим ножом копать землю, можно было сообразить, что он и понял, и одобрил план своего косоного товарища.

Темная, душная ночь покрывала их усердное дело, и только усиленное сопение свидетельствовало об их старании. В какой-нибудь час они подкопали столб, затем Поспелко сунул рыжему в руки толстую орясину, и скоро крепкий столб выдвинулся, оторвав обшивку, и грохнулся наземь.

– А теперь и назад, – сказал Поспелко, – надо думать, что ратные люди не доглядят до завтра, а там – ищи ветра в поле!

– И воистину ты – Поспелко, – с чувством удивления перед умом своего приятеля сказал рыжий.

– А ты – дубье стоеросовое! – ответил, ухмыляясь, Поспелко, но тотчас же переменял тон. – Федька десять рублей обещал?

– Десять! – подтвердил рыжий.

– Кому говорил-то!

– Май сказывал; опять Распуту слышал.

– То-то! А то он живо и в нетях {Быть в нетях – не явиться, скрыться.}.

– Ну, от нас не уйдет.

– Из Нижнего Новгорода ушел.

– А здесь встретился!

Они вышли на чистый двор и, отойдя от мощеной дороги, легли под дерево на траву. Подле них огромной черной тушей лежал медведь, привязанный к дереву, и тут же на длинной привязи бродила коза. Сон сковал двух приятелей, и вся усадьба погрузилась в сон.

Едва летнее солнце вошло на небо, как все проснулось и зашевелилось в усадьбе. Сенные девушки под досмотром более пожилой Натальи принялись за свое рукоделие, Степаныч, громыхая связкою ключей, полез по амбарам и кладовушкам, отпуская то овес, то крупу, то масло. Поднялась княгиня и со своим первенцем, в домово́й церковке, под гнусавое пение и чтение дьячка, жившего у них при усадьбе, стала слушать обедню. Потом она отпустила Мишу с несколькими девушками поиграть до полдника, а сама пошла в свой терем и села за пядьлицы.

– А где скоморохи? – спросила она свою постельницу.

– Ушли, матушка – княгинюшка, чем свет ушли, – ответила та.

В тереме наступила тишина; только слышно было, как костяная игла с легким скрипом проходит через материю да мухи с жужжанием носятся по душной горнице. Из раскрытого окна стал уже вливаться знойный воздух, когда княгиня со стороны сада услышала тревожные переклики девушек, приставленных к Мише, и вдруг вскочила, охваченная неясным предчувствием горя. Минуту спустя она стояла на крыльце, бледная, взволнованная, и ее волнение мигом передалось всей дворне.

– Где же, где? – повторяла в нетерпеливом томлении княгиня.

Дуня повалилась ей в ноги и завывала в голос.

– Матушка – княгиня, бей нас, слуг негодных!.. Упустили мы нашего сокола, найти не можем! Может – шалит, может – беда приключилась.

– Миша! – не своим голосом закричала княгиня и вмиг очутилась в саду. – Очи мои светлые, сердце мое, Мишенька, откликнись! – стонала она, метаясь уже, как безумная.

– Ау! – перекликалась по саду рассыпавшаяся всюду челядь.

– Влас, тащи лодку! – кричал, стоя на берегу, кудлатый мужичонка в холщовой рубахе.

Княгиня с чистых дорожек бросилась в кусты маличника, обрывая тяжелую материю сарафана, царапая белые руки, и вдруг закричала не своим голосом. В ее крике было столько горя и ужаса, что он словно ударил каждого слышавшего его, и все стремглав бросились к месту, откуда разнесся крик.

Глазам всех представилась ужасная картина. С безумно горящими глазами, с растрепавшимися волосами, княгиня стояла на крошечной лужайке у реки и, потрясая золотым позументом, служившим у Миши опояской, неистово кричала:

– Украли... скоморохи украли! Будьте вы прокляты, кто смотрел за моим ненаглядным! Миша мой! Сердце мое! Очи мои! Ослепили меня злодеи, очи мои вынули! Что я скажу князю своему? Куда побегу, где искать буду? Что вы стали? – кинулась она вдруг на толпу. – Седлайте коней, скачите за ними, вырвите сына моего!.. Раскляйте их, сюда приведите! Я им глаза выскребу! Изменники!

Все с ужасом попятились от княгини и только теперь увидели вырванную балку из тына.

– Миша! – еще раз закричала княгиня и рухнула на землю, хрипя и колотясь от внезапной боли.

Все растерялись. Первой спохватилась пожилая Наталья. Она протискалась вперед и властно заговорила:

– Чего стоите, рты разинувши, вместо того чтобы дело делать? Аким, иди сейчас, седлай коней да возьми хоть шесть человек и по всем следам погоню гоните! А ты, Влас, сейчас на коня и до князя – батюшки на Москву спешу. Не жалея коня, слышишь? А ты, Ерема, бери телегу и в Коломну гони. Слышь, там бабка Ермилиха. Ее вези! Не поедет – волоком. А вы, девушки, берите княгинюшку да в баньку ее, прямо в баньку. Ишь с ней от испуга грех приключился.

Девушки испуганно подошли к княгине, осторожно подняли ее и понесли из сада. Расторопная Наталья, захватив власть, уже не выпускала ее, и ее голос звучно раздавался то здесь, то там, отдавая приказания.

Словно борзые по зайцам на облаве, во все стороны рассыпались люди Теряева, ища следов ушедших скоморохов, рыская вдоль большой дороги по перелеску и по противоположной стороне быстрой реки. Не щадя конской силы, мчался Влас в Москву и, скача по дороге, казался движущимся пыльным столбом. Чуял он, что, может быть, едет на верную смерть от руки разгневанного князя, но, горя холопским усердием, не задумывался над этим и только боялся, загнав коня, не найти на подставу другого.

Ерема тряся в телеге, торопясь в Коломну, а в это время княгиня в беспамятстве металась на широкой скамье в предбаннике, и пожилая Наталья тщетно вспрыскивала ее святою водой с уголька и читала отпускные молитвы {Молитвы о прощении (отпущении) грехов.}.

Девушки, суется, раздевали княгиню, а она стонала и плакала, причитая звонким, надтреснутым голосом:

– Соколик мой Мишенька, светик мой ясный! Сердце мое, свет очей моих! Я ли тебя не любила, я ли тебя не холила, мое золото! Взяли тебя лихие люди, тащат тебя, как горлицу, обижают тебя, моего бедного. Крикни мне, соколик, громче! Отзовись на мои слезы горькие! Уж как я полечу на них, моих врагов, и ударю, как сокол на воронов. Вы терзайте мое тело белое, пейте мою кровь горячую, лишь отдайте князю – батюшке его первенца!

Девушки горько плакали, а Матрешка с Дунею, как безумные, выли и колотились головами о дубовые стены. Чувало их сердце, что не простит князь в своем гневе их вины окаянной.

Даже княжий доверенный Степаныч, и тот ходил, свесив голову, сознавая свой проступок пред княжым домом.

Словно грозовая туча повисла над усадьбою, словно ждали все судного часа и трепетали в таинственном, суеверном ужасе. Страшен бывал князь, когда гневался.

А скоморохи тем временем быстро шли вперед, сторонясь большой дороги и пробираясь лесом и зарослями по тропинкам, известным только Злобе, Козлу да косолапому Русину, которые в смутное время были в шишах {Во времена Смуты шишами называли русских партизан. Позднее – разбойников и бродяг.} и в первые годы в этих же местах занимались разбоем.

Шли они быстрым шагом, не зная устали. Впереди их шагал Злоба, ведя в поводу медведя и таща за руку выбившегося из сил маленького Мишу. Мягкие сафьяновые сапоги мальчика уже разорвались, и из них торчал угол холщовой портянки; его шелковая рубашечка висела на плечах ключьями, и он то и дело падал от усталости.

– У, князь отродье! – злобно проговорил наконец рыжий великан и, взбросив его себе на руку, зашагал еще быстрее. Ему мало было дела до того, что сердце Миши билось, словно пойманная птица, что его личико застыло с выражением неземного ужаса, а глазки смотрели почти безумно. Живой или мертвый, лишь бы был он действительно первенец князя Теряева. Только одно это и знал рыжий поводырь, да знал еще, что худо им будет, если они не уйдут от погони.

II Темное дело

Через два дня после описанных событий, накануне великого торжественного дня встречи царя с вырученным из неволи отцом, именно 13-го июня 1619 года, за каких-нибудь полчаса до захода солнца, по Москве через рыбный рынок шел средних лет мужчина, обликом иностранец, по костюму – военный. Высокого роста, широкий в плечах, с открытым, веселым лицом, с окладистой русою бородою, он был бы красавцем, если бы кровавый шрам не пересекал его лица огненной полосой, начинаясь над правой бровью, проходя через раздробленную переносицу и теряясь в левом усе.

На голове путника была медная шапка, или прильбица, с кольчужною сеткой, падавшей на плечи и шею; на нем был синий кафтан с желтыми рукавами, поверх которого были надеты кожаные латы с железными набойками, т. е. юшман; на ногах красовались огромные сапоги из желтой кожи, доходившие почти до бедер. Широкий кожаный кушак охватывал его живот, и на нем спереди висел поясной нож, а сбоку – короткий и широкий меч. Несмотря на жар, поверх всего на плечах этого человека висела короткая суконная епанча {Широкий дорожный плащ.}.

Путник торопливо переходил рыбный рынок, на котором уже никого не было, и угрюмо бормотал что-то по – иностранному, очевидно, ругаясь. Рыбный рынок, прилегавший одной стороною к овощным рядам, представлял собою небольшую площадь, только частью застроенную ларями. Торговцы обыкновенно приезжали с возами, с которых и вели торг. Вряд ли по своей неопрятности в Москве было еще другое подобное место. Снулую рыбу торговцы без околичностей бросали прямо на землю, мелкая рыбешка падала на ту же землю просто случайно, тут же иной голодный поедал соленую рыбу, кидая остатки наземь; все это, покрывая площадь изрядной толщины слоем гнили, разлагалось и наполняло воздух ядовитым и удушающим смрадом. Русский нос сносил его, и в базарные дни здесь торговля шла развалом, но иностранцы с ужасом вспоминают в своих записках об этом рынке. В небазарные дни площадь обыкновенно пустовала, и только бродячие собаки стаями бродили по ней, жадно роясь острыми мордами в смрадной рыбной падали.

Путнику казалось, что он умрет посреди этой площади, и на его лице выразилось наслаждение, когда свежий ветерок дохнул на него с реки Москвы, мост через которую примыкал к другой стороне площади.

Иностранец отнял руку от носа, вздохнул полной грудью и остановился у начала моста, пытливо оглядываясь по сторонам.

Узкий, недлинный мост, настланный на широкие суда, выходил на безлюдную мрачную местность, так называемое Козье болото. Посреди площади стояла виселица, еще не разобранный после казни, и мрачной громадою высился эшафот, лобное место – высокий помост на толстых сваях, к которому вело несколько ступеней; на помосте стоял тяжелый широкий обрубок, вроде тех, которые можно видеть теперь в мясных лавках.

Иностранец взглянул вдоль берега. Немощеная улица была покрыта пылью и грязью. На ней, то высовываясь вперед, то уходя назад, стояли дворы с убогими избами. Иностранец, не видя людей, постоял минуту в нерешительности и потом смело двинулся вдоль берега направо. Вдруг его лицо прояснилось, и он ускорил шаг. У одних ворот растворилась калитка, и чьи-то сильные руки вытолкнули человека на улицу. Он сделал два скачка, замахал руками и повалился лицом в пыль. Иностранец быстро подошел к нему и нагнувшись толкнул в плечо.

– Скажи мне, где Федор Беспальцев? А? – спросил он ломаным языком.

Упавший сделал попытку поднять голову, замычал что-то и опять ткнулся носом в пыль. Он был весь оборван, сермяжная рубаха едва прикрывала его наготу, синие дерюжные порты сползли и обнажили часть спины, босые ноги были грязны и изранены.

Иностранец постоял над ним, потом выпрямился, решительно подошел к калитке и застучал кольцом. Не получив ответа, он вынул нож и его медной рукоятью с такой силой стал ударять в доски калитки, что гул ударов огласил всю улицу.

Этот способ оказался действенной.

– Ты опять, песий сын, буянить! – раздался злобный голос, и, распахнув калитку, здоровенный детина в рубахе рванулся было вперед, но иностранец ударом в грудь отбросил его и вошел в калитку.

Мужик с изумлением взглянул на него.

– Тебе что нужно? – спросил он.

– Федор Беспальцев тут? Мне его видеть надо!

– Здесь, – грубо ответил мужик. – Тебе зачем его?

Лицо иностранца вспыхнуло.

– Ну, ну, грубый мужик. У меня дело есть! Веди! – крикнул он.

Мужик смирился.

– Иди, что ли! – сказал он и, замкнув калитку, повел гостя по двору к большой избе.

Иностранец, положив на нож руку, твердо ступал за ним.

Мужик ввел его в темные сени и провел через просторную горницу, в которой у стола, за штофом вина, двое каких-то мещан играли в зернь {Зернь – небольшие косточки с белыми и черными сторонами. Выигрыш определялся тем, какой стороной они упадут.}; затем, пройдя темную кладовку, он ввел его в другую небольшую горницу и, сказав в полутьме кому-то: «К тебе, хозяин!» – оставил гостя одного.

Полутемная горница почти до половины была загорожена огромной печью. В углу трепетно мерцала лампада.

В душном воздухе пахло прелью, мятой, сырой кожей, потом, образуя смрадную атмосферу; сквозь небольшое слюдяное оконце тускло светил догорающий день. Иностранец разглядел у окна маленький стол с лавкою подле него и, подойдя, опустил на лавку.

В тот же миг с печки раздался сухой кашель, с ее лежанки свесились грязные босые ноги, и маленький, корявый мужичонка, с поредевшими рыжими волосами, опустил на пол и, щурясь, подошел к пришедшему.

– Кха, кха, кха, – заговорил он, шепелявя и кашляя, – что-то не признаю тебя, добрый молодец. Откуда ты, кто? Какой человек тебя ко мне послал? Кха, кха... – И он, закашлявшись, опустил на длинный рундук, стоявший вдоль стен, и заболтал головою.

Красноватый отблеск заходящего солнца ударил в оконце и осветил его. Это был Федька Беспальый, бывший тягловый боярина Огренева – Сабурова.

Если другим тяжелые дни Смутного времени принесли горе и разорение, то Федьке они дали возможность нажиться, и он, не брезгуя ничем, жадно и торопливо набивал свою мошну. Находясь в вотчине под Калугой в дни Калужского вора, он умел поживиться и от поляков, и от своих, когда возил туда оброк натурою, и даже запасся кубышкою, как современные банкиры запасаются несгораемым сундуком. Когда спалили усадьбу боярина и верный его слуга зарыл часть казны в землю, Федька успел подглядеть заветное место и обокрасть его. Вора убили в Калуге, суматоха настала кромешная, и Федька с казною пробрался в Нижний и занялся там куплею – продажей и корчемничеством. Даже в великий момент поднятия народного духа, когда Минин Сухорук тронул все сердца и на успех родного дела подле его трибуны вдруг стала расти куча денег и сокровищ, Федька сумел из этой груды уворовать себе немало. Как шакал, он шел за ополчением, торгуя вином и пивом, держа у себя скоморохов и женщин, и, наконец, когда относительный мир осенил Русь, он окончательно переселился в Москву, выстроил себе на берегу крепкий дом и стал содержать рапату. Так назывались в то время тайные корчмы, притоны пьянства, разврата и всякого бесчинства. Пьяница, распутный ярыга {Ярыга (ярыжка) – здесь: пьяница, мошенник.} и боярский сын, подлый скоморох и инозем-

ный наемник находили здесь все и во всякое время: вино, игру, женщин, табак и даже деньги, если у нуждающегося была какая-нибудь рухлядь. Как паук, сидел Федька в своей норе и ткал паутину.

Теперь, кашляя, он зорко осмотрел пришедшего и уже знал, за каким делом тот пришел к нему. Иностранец дал ему прокашляться и ответил, коверкая язык:

– Я – капитан Иоганн Эхе, а послал меня к тебе мой камрад Эдвард Шварцкопфен.

Федька затряс головою.

– Помню, помню. Я ему коня достал и десять рублей дал. Хороший был воин! – он вздохнул, – сколько он мне добра приносил. Теперь уж нет того. Ляхи, будь они прокляты, все побрали. Чего не унесли, в землю закопали, а остальное опять в казну ушло. Теперь князья-то да бояре оправляться стали, теперь и кубок, и стопки, и братину без торга взяли бы, а нет!

– Таких нет, а вот это я тебе принес. Возьми, пожалуйста!

С этими словами Иоганн Эхе откинул свою епанчу и протянул Федьке кожаную торбу. Федька торопливо вскочил с рундука, и его глаза хищно сверкнули; но он сдержал свой порыв.

– Сем-ка я огонек засвечу, – сказал он.

Нагнувшись к подпечью, он достал каганец со светильней, воткнутой в остывшее сало, и горшочек с углями. Присев на корточки, он раздул уголья, запалил о них тонкую лучину и зажег светец. Светильня затрещала, и огонек, тускло играя и коптя, слабо осветил часть горницы.

Федор поставил светец на пол, подошел к двери, заложил ее на щеколду, заволочил оконце и тогда только, подойдя к столу, развязал дрожащими руками торбу. Эхе, опершись локтями на стол, с ожиданием смотрел на него.

Федька вынул напестольный крест, смятую серебряную чашу, два ковша и целую горсть самоцветных камней. Его раскосые глаза засветились, жадность озарила лицо, но осторожная скупость торговца победила.

– Ох, хорошие штуки, хорошие, а где мне, убогому, взять их! – со вздохом сказал он и отодвинулся от стола, с удовольствием видя, как изменилось вдруг лицо Эхе.

– Возьми, пожалуйста, – заговорил тот откровенно, – я здесь совсем чужой. Никого не знаю. В Стокгольме хотел побывать, да здесь остался, потому что поехать не на что; здесь служить – коня надо, кушать надо, а денег-то нет – искать надо, до царя идти. Возьми, пожалуйста!

– Хорошего коня я тогда твоему латинцу достал! Ой, хорошего! Да тогда другие дела были: тогда деньги везде были, в грязи валялись, а теперь... – Федька развел руками. – Нет, пойдешь к другому.

– Я никого тут не знаю! – жалобно ответил Эхе.

Он, сильный, молодой швед, с мольбою смотрел на плюгавого Федьку, которого в другое время, может, раздавил бы, как гадину. И тогда, и теперь, и во все времена нужда одинаково унижала достойного пред недостойным.

Федька опять вздохнул.

– И то, – сказал он сочувственно, – пойдешь на базар продавать, сейчас какой-нибудь дьяк или его приказный привяжутся: «Откуда? Краденое!». Тут тебя сейчас в разбойный приказ и руку отрубят.

Эхе побледнел и судорожно схватился за рукоять ножа.

– Откуда у тебя это все? – спросил Федька, – наградил? – Эхе вдруг вспыхнул и так хлопнул по столу широкой ладонью, что Федька мигом отскочил в сторону.

– Я – не вор, – гордо ответил швед, – я – воин! С генералом Понтусом Делагарди я ваших врагов бил, в Тушине бил, в Москве бил; с генералом Горном ходил тоже! Да! Я – не вор! Ведь это вы, русские, – воры. Когда нам субсидии не дали, мы на Псков ходили, потом с генералами и Понтусом, и Горном Новгород брали. Много наших убили, ну и мы! Мы все брали, жгли, резали! Все наше! Мы кровью взяли, с оружием! Вот! – Он пришел в одушевление и махал ножом, и его шрам горел, словно раскаленный железный прут. – А ты говоришь: крал! Я –

не вор! – Он тяжело перевел дух и вдруг кротко улыбнулся и смиренно повторил: – Купи, пожалуйста!

Федька, дрожавший и читавший уже отходную, снова почувствовал свою силу и вылез из-за печки, куда забился от страха.

– Ишь ты какой! – сказал он. – То» пожалуйста», то ругаешься. Ну, да быть по – твоему! Сколько тебе денег надо?

Лицо Эхе сразу ожило.

– Дай два сорок рублей, и хорошо будет!

Федька уморительно припрыгнул и даже руками хлопнул по бедрам.

– Аль ты не в уме? – воскликнул он. – Два сорок! Да у кого есть теперь столько денег? У казны разве! Я – бедный смерд, Федька убогий, и два сорок! Полсорока хочешь, а то бери себе! – грубо окончил он и отодвинул от себя торбу.

Глаза Эхе вдруг потухли, лицо побледнело, он уныло опустил голову, но здравый смысл подсказал ему, что все равно выхода ему нет, и он покорно ответил:

– Хорошо! Ты меня ограбил, а не я. Только я возьму себе два – три яхонта.

Федька так обрадовался своей сделке, что не стал спорить. Эхе со смутным пониманием отобрал четыре лучших камня и тщательно спрятал их за пояс.

– Пстой за дверьми, пока я управлюсь! Я скоро, – сказал Федька.

Эхе послушно вышел и остановился в сенях, слушая, как Федька отпирает свой рундук и звенит деньгами. В эту минуту со двора к сеням подошли люди, заинтересовавшие Эхе. Рыжий, кривой поводирь, бросив на дворе медведя, тянул за руку хорошенького мальчика, так и заливавшегося слезами; маленький раскосый мужичонка шел рядом и держал мальчика за другую руку. Они вошли в сени и, наткнувшись на воина, спросили его:

– Федька у себя в каморе, не ведаешь?

– Зачем у вас этот мальчик? Вы его у боярина украли, верно? – вместо ответа спросил добродушный капитан.

– Ну, латинец, ты за своим добром присматривай, а другому в кошель не запускай лапу! – грубо ответил рыжий.

– А я вот хочу знать! – вспыхнул Эхе, но в эту минуту Федька раскрыл дверь, увидел, в чем дело, и поспешно позвал к себе воина.

– На тебе деньги, считай! – сказал он, махая рукой рыжему, который ввел ребенка.

Эхе успел заметить их, считая деньги и укладывая их за пояс, и вдруг у него мелькнула мысль.

– Я у тебя ночевать буду. Я хотел на Кукуй, но не знаю пути, – сказал он.

Федька ласково кивнул ему.

– Исполать! {Буквально: многая лета!} Иди, иди! Там все найдешь – и табак, и карты, и зернь, и вино, и... кралю по душе! – ответил он и вытолкал шведа из горницы. – Прямо через сенцы иди. Вона дверь!

Эхе пошел, но едва дверь за Федькой закрылась, вернулся к ней и стал слушать. Гудел рыжий, пищал раскосый, шепелявил Федька, жалобно плакал мальчик, и Эхе, с трудом прислушиваясь к быстрой речи, понял, что мальчик приведен по приказу Федьки за десять рублей, что он – боярский сын. Послышался звон денег, и Эхе едва успел войти в общую горницу, как сзади него послышались голоса рыжего и Федьки.

Войдя в большую горницу, капитан не узнал ее сразу – такое буйное веселье царило в ней вместо прежней тишины. В большой печи ярко горел огонь, несмотря на душный летний вечер, в трех углах, в высоких поставцах, горели пучки лучин, наполняя густым, едким дымом горницу и застилая им низкий потолок. За двумя длинными столами, что стояли по сторонам горницы, в различных позах сидели и мужчины, и женщины, с разгоряченными лицами. Одни играли в зернь, другие – в кости, третьи, собравшись кучкою, просто пили водку и пиво. Среди

мужчин виднелись и дерюга, и поскона, и суконный кафтан. Почти полуодетый, сидел пьяный ярыга у конца стола и, стуча оловянной чаркою, кричал:

– Лей еще в мою голову! Остались еще алтыны от материнского благословения!

Подле него расположились несколько стрельцов, дальше – знакомые нам скоморохи, какой-то купчик из рядов – все с пьяными лицами, и между ними женщины, простоволосые, с набеленными и нарумяненными лицами, с накрашенными бровями и черными зубами.

По горнице, услуживая гостям, юрко сновали два подростка в синих дерюжных рубашках без опоясок, грязные и босоногие. В углу горницы, подле печи, стояли бочка с водкою и два бочонка с пивом, и подле них сидел тот самый парень, который отворил капитану калитку.

Никто не заметил появления Эхе, и веселье шло своим чередом, только одна из размазанных женщин подошла к нему и, грубо захохотав, сказала:

– Садись, гостюшка дорогой, тряхни мошной, а я тебя потешу! – Она кивнула мальчишке, и тот мигом поднес ей в оловянной стопке водку. Женщина взяла стопку и кланяясь произнесла:

– По боярскому обычаю вкушай, гостюшка, да меня в губы алые поцелуй, не кобенься!

Немец взглянул в ее наглые глаза, почувствовал за своим поясом тяжелые рубли и, обняв размазанную красавицу, крепко поцеловал ее, после чего залпом осушил стопку.

– Вот по – нашему, хлоп, и нет! – закричала ярыжка.

– Иди к нам, ратный человек! – позвали капитана стрельцы.

Эхе, сев подле них, взял на колени красавицу.

– Тащи, малец, братину! – крикнул один из стрельцов, – немчины славно рубятся, поглядим, как пьют.

– Дело говоришь, Михеич! – весело отозвался другой стрелец, помоложе.

Мальчишка поставил на стол муравлений {Покрытый глазурью зеленого цвета.} горшок, наполненный водкой, и небольшой ковшик. Михеич разлил им водку по стопкам.

– Откуда рубец у тебя, немчин? – спросил он.

– Этот? – спросил Эхе, – ваш русский побил, в Москве когда были.

– Эге – ге, – усмехнулся Михеич, – может, и мой бердыш. Я тогда с князем Пожарским у Никитских ворот с немцами бился.

– Жарко было! – сказал Эхе. – Кругом горит, все кричат... тут русский воин, там русский... и меч, и смола, и камни.

– А ты что ж думал, немчин, что мы матушку – Москву вам, псам, отдадим? – подходя пьяной походкой, спросил ярыжка.

– Я ничего не думал. Я служил у генерала Понтуса Делагарди, а он – у генерала Гонсевского служил!

– Ну, вот и намяли бока! – захохотали кругом.

Эхе покраснел.

– Потому что поляк глуп, – сказал он.

В эту минуту у играющих поднялся спор, потом – драка. Кружки опрокинулись, вино разлилось, дерущиеся повалились на пол. Их окружили и поощряли веселым смехом:

– Бей его, жидовина!..

– Под микитки ему!.. Так его!

– За усы тяни! Завоет! – кричали зрители.

Дерущиеся поднялись с окровавленными лицами.

– Схизматик {Схизматик – здесь: неправославный.} поганый.

– Лях!

– Я те заткну глотку!

– Смиритесь, почтенные! – вмешался и тут ярыжка, – поцелуйтесь, православные! Будем снова играть!

Один из дерущихся словно охладел.

– А откуда у тебя деньги, ежели ты крест пропил! – спросил он.

– А вот он! – засмеялся ярыжка, показывая зажатые в кулак алтыны.

– Братцы, ограбил он нас!.. – закричал тот, – пока дрались, он денежки уволок. Мои алтыны! Держи!

Но уже было поздно: ярыжка скользнул за дверь и мчался по двору так, что его подошвы хлопали, словно лошадиные копыта.

– Ну, подожди, окаянный, я тебя сцапаю! – прохрипел ограбленный.

– А ты подерись еще малость!

Не ходи кума на мост,
Там провалишься, —

раздалась пьяная песнь скоморохов, и они пустились в пляс.

Одна из женщин затоптала на месте, махая платком, сорванным с головы.

– Люблю! Отхватывай, Аленка! – закричал захмелевший молодой стрелец.

В это время Эхе заметил кривого рыжего и его товарища. Они пили и о чем-то спорили. Эхе перешел на другое место и сел подле них, все думая услышать имя хорошенького мальчика.

– Волчья сыть! Пять рублей кожей дал, – сказал рыжий.

– Себе и бери ее, а нам серебро отдай, – ответил раскосый.

– Нет, брать все пополам. Кожу пропьем, а эти разделим. Эй, Аленка! – закричал рыжий.

К нему подбежала толстая женщина.

– Пить будем! Тащи красоулю!

– Важно, ой, важно! – вскрикивал купчик, глядя на пляшущих скоморохов, и, вдруг взвизгнув, сам пустился притоптывать.

Я в кусточки пошла,
Добра молодца нашла!

Стены затряслись от топота ног.

– Вот как у нас, немчин! – кричал купчик отплясывая, – умеешь так?.. Уф! – И он упал на лавку, вытирая грязной рукою вспотевший лоб. – Будет плясать! – сказал он, – пить станем. Всех пою! – Молчаливый до времени, он стал теперь амфитрионом {То есть предводителем.} и, разливая всем по кружкам водку, заговорил с каждым. – Пирование теперь у нас будет... Эх!

– Закурим! – отозвался угрюмый подьячий.

– Чай, и вы за тем сюда пришли? – спросил Михеич скоморохов.

– Вестимо, за тем же, – ответил раскосый – товарищ рыжего, – теперь, говорят, на площадь-то мед, пиво выкатят, на три дня гулянка!

– Слышь, из тюрем выпустят!

– Всем ярыжкам награда будет!

– Ну?

– Кому плетью, кому просто тычком!

Все засмеялись.

– Что же будет завтра? – спросил начинавший хмелеть Эхе.

– Ах, ты, немчин, немчин! – с укором сказал купчик, – завтра наш царь – батюшка своего батюшку встретит. Из полона вызволил его, от ляхов поганых {Филарет (до пострижения – Федор) Никитич Романов в сане митрополита ростовского был отправлен под Смоленск вместе с другими послами к польскому королю Сигизмунду просить сына его на всероссийский

престол с тем, чтобы он принял православие; но Сигизмунд, раздраженный этой просьбой, отправил его в плен в Польшу, где он и пробыл девять лет. (Примеч. авт.)}}

– Нас-то завтра по всей дороге вытянут. Стой! – гордо заявил молодой стрелец.

– А вы, чай, к Федьке за ребятишками? – спросила тем временем толстая баба у рыжего.

– Вестимо, не без этого, – ответил он, – калечных надо да плясунишку.

– Есть у него, есть! – сказала та, – намедни он их штук шесть купил. Жмох!

– Уж это как быть должно!

Компания хмелела. У Эхе уже слипались глаза. Размалеванная женщина шептала ему:

– Возьми с собой в клеть!

– Идем! – ответил Эхе и встал, шатаясь от выпитой водки.

Купчик хотел с ним поцеловаться, поднялся, но тут же покачнулся, упал под стол и моментально захрапел.

Женщина провела капитана в клеть, что стояла особняком в глубине двора, но Эхе не мог заснуть, несмотря на выпитое им. Он снял тяжелые сапоги и латы, отвязал меч, но из осторожности не снимал кушака и камзола. Ему было невыносимо душно в тесной клетке, он вышел на двор, обошел избу и вошел в сад, тянувшийся позади нее. Бродя по саду, он наткнулся на большой деревянный сарай с маленькими оконцами.

Чем-то таинственным, мрачным веяло от этого здания, запрятанного в чаще, особенно теперь, среди ночной тишины и мрака. Эхе, положив руку на нож, осторожно обошел вокруг сарая и уже хотел уйти, как вдруг в стороне послышались шаги. Он спрятался за дерево и увидел Федьку Беспалого. Тот вел за руку мальчика и говорил ему:

– Ну, ну, не хнычь! Здесь много таких же мальчишек... и девчонки есть. Тебе весело будет!

– Мамка моя! Мамка моя!.. Не хочу тут быть! – тихо воскликнул мальчик, задыхаясь от слез.

– И мамка сюда придет! Ну, иди, что ли! – и, отворив дверь сарая, Федька толкнул туда мальчика и снова запер дверь висячим замком. Эхе вышел из засады, когда Федька удалился, и неохотно побрел в свою клетку. В своей походной жизни он видел всякие виды и приучился не вмешиваться в чужие дела, но этот мальчик и его участь как-то интересовали его помимо воли. Он вошел в клетку, но спать уже не мог и беспокойно ворочался с боку на бок. Наконец он встал, надел латы, взял шлем, опоясался мечом и вышел на двор, а потом на пустынную улицу.

III

Княжья расправа

Князь Теряев – Распояхин во время своего пребывания в Москве всегда гостил у Федора Ивановича Шереметева, начальника вновь основанного аптекарского приказа, с которым сдружился после неудачного похода под Новгородом против Делагарди; тогда князь был ранен и лечился через него у Дия.

Федор Иванович души в нем не чаял, отчасти чуя в своем друге могучую силу и недюжинный ум, и отвел ему две горницы в своем доме в Китай – городе.

Сейчас, после разорения, построил ему эти хоромы немец из слободы. Затеяливо они были выстроены: с теремами, с башенками, с клетями и холодушками, с расписными печами внутри и затейливыми балясинами снаружи. На обширном дворе раскинулись еще добрый десяток изб да бани, да сараи, потому что Федор Иванович держал до полутысячи человек челяди, как подобало в то время знатному человеку.

Князь Теряев не чувствовал у него ни малейшего стеснения и, случалось, даже не видел своего хозяина по нескольку дней, но теперь они все время были неразлучны.

Царь Михаил любил их, отличал пред прочими; они в совете помогали составлять порядок встречи возвращавшегося Филарета Никитича, и царь поручил князю Теряеву оповестить его о приближении высокого пленника к Москве.

С раннего утра уезжали князь и Шереметев из дома: один – в приказ и боярскую думу, как единственный государственный человек, другой – к царю для беседы; сходились они лишь за обедом и тут говорили о делах государских.

Оба они одинаково радовались возвращению твердого, решительного, смелого умом Филарета.

– Конец царевым приспешникам, – говорили они, – будет! Посидел царь – батюшка под бабьим началом, теперь в другие руки владычество перейдет!

И эту радость смутно делили с ними все русские.

Еще чуть брезжило утро, когда Влас скорее свалился, чем сошел, с коня пред домом Шереметева и стукнул кольцом.

– Кто стучит? – спросили его.

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Власий, смерд князя Теряева!

– Аминь! – послышался голос, и калитка отворилась.

– Куда коня поставить? В доме ли князь – батюшка? – спросил Влас.

– Коня-то во двор, там коновязь есть, – ответил сторож, отворяя ворота, – а что до князя, то оба только обедню отслужили и тотчас наверх {То есть во дворец.} поехали.

Влас видимо ожил:

– А стремянной его, Антон?

– Тот здесь. Вот четвертая изба под ваших людшек отведена. Там и коновязь.

– Прости, Христа ради! – сказал Влас и, ведя коня, с непокрытой головою пошел по указанному направлению.

– С Богом! – ответил сторож, затворяя тяжелые ворота.

Влас дошел до большой, просторной избы и, привязав коня, стукнул в дверь.

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

– Аминь! – ответили изнутри.

Влас отворил дверь и вошел в избу. Охрана Теряева – большей частью бывшие шиши в Смутное время – сидела за столом и хлебала любимое толочно из большой мисы. Увидев Власа, все радостно загалдели:

– Влас! Али в гонцах? Здорово! Садись с нами! Какие вести? С чем радостным? Али княгинюшка?

Влас истово помолился в правый угол и потом отвесил всем общий поклон.

– Хлеб да соль! – сказал он.

– Садись к мисе-то, – ответил ему за всех Антон, – речи после будут. Чай, умаялся.

Влас присел, взял ложку, перекрестился, и жадно принялся за еду.

Только когда очищена была вся миса и Влас положил ложку, Антон спросил:

– Ну, с какими вестями? До князя?

Влас, вздохнув, ответил:

– До князя! А как сказать – и в ум не возьму. Гневлив он и лютый во гневе-то.

– А что за вести? – снова спросил Антон.

– Вести-то... такие вести... Одно слово: кнут вести.

– Да не томи нас-то, – крикнул Антон. – Говори!..

– Что говорить-то! Князюшку нашего скоморохи скрали, а матушка – княгиня вне себя в бане лежит, воеет.

Антон вскочил, но тотчас опустился на лавку и словно остолбенел.

– Что ж, погоню-то нарядили? Как выкрали-то? – слышались вопросы.

Антон залпом выпил целый ковш кваса и оправился.

– Ох ты, Господи, беда какая! – сокрушенно сказал он.

Влас сумрачно зачесал в затылке.

– Теперь и рассуди, каково мне князю эту весть принести. Убьет, как есть убьет!

– Ну, – вставая с лавки, сказал Антон, – ложись спать и не думай. Я сам князю про его горе расскажу, а ты после придешь, позову!

Влас вскочил и поклонился Антону, коснувшись руками пола.

– По гроб тебе спасибо, Антон Дементьевич! – сказал он с чувством.

Все полегли отдохнуть, только Антон не мог заснуть после полученной вести и сумрачный ходил по двору, поджидая своего любимого господина.

Князь веселый въехал во двор и, сойдя с коня, легко взбежал на крыльцо. Шустрый домашний отрок подбежал к Антону.

– Иди, твой господин вернулся!

Антон вздрогнул, словно от удара, и нехотя пошел в горницу.

Князь, приветливо улыбаясь, кивнул ему головою и спросил:

– Что людишки наши?

– Живем твоей милостью, батюшка – князь, – ответил Антон и, переминаясь, прибавил:

– Влас с вотчины твоей приехал.

– Влас? – встрепенулся князь, – зови его. С какими такими вестями? Али худо? – Он взглянул на Антона, и его тревога усилилась. – Знаешь? Говори! – сказал он, подходя к Антону.

Тот упал ему в ноги.

– Ох, батюшка – князь, дурные, черные вести! Не доглядели твои слуги верные.

Князь тяжело перевел дух.

– Что случилось? – тихо спросил он.

– Сына твоего скрали скоморохи! Княгинюшка...

– Сына! Скоморохи! – не своим голосом вскрикнул Теряев.

Антон взглянул на него и испугался – так от гнева перекопилось лицо князя.

– На конь! В погоню! Зови Власа! – вдруг закричал князь, быстро схватывая шлем и меч.

– Куда заспешил, Терентий Петрович! – слышался дружеский веселый вопрос, и Шереметев вошел в горницу.

– Домой, в вотчину! – отрывисто ответил князь.

– С чего? Или попритчилось что?

– Притчиться {Притчиться – здесь: казаться, чудиться.} мне не может, а просто сына скрали... наследника моего, сердце!.. – И он сжал руки так, что они хрустнули.

Лицо Шереметева сразу изменилось.

– Ах, горе какое! Ах, беда какая! Как же так?

– Скоморохи!

– А завтра тебе в ночь на встречу ехать!

– О, эта встреча! – воскликнул князь. – Ну как мне радоваться с ними, когда такая тоска в сердце? А? Что же ты, смерд? – крикнул он вдруг на молча стоявшего Антона.

Последний кубарем вылетел из горницы и, ворвавшись в избу, заорал благим матом:

– Вставайте, что ли, черти! На конь все, живо! Князь на вотчину едет!

Через несколько минут все было готово к отъезду.

Словно спасаясь от врагов, мчался князь на своем аргамаке, и за ним едва попевала его малая дружина. Бурей пролетели они через деревни, встречавшиеся на пути, вздымая облака пыли, и мужики, бросив свои работы, пугливо шептались:

– Видно, опять воры или ляхи на нас идут: ишь как князь Терентий Петрович промчал!

– Борони Боже! Может, на его вотчину наехали!..

На пятидесятой версте Антон, задыхаясь, сказал князю:

– Князь – батюшка, дадим коням передых. Неравно зарежем таким угоном!..

Князь словно очнулся и взглянул на своего коня. Кровавая пена летела с него ключьями, бока судорожно вздымались, и, когда князь сдержал его бег, видно было, как дрожали ноги коня.

– Твоя правда, – ответил с досадою князь, – передохнем часа с два времени. Коней отводить, потом вытереть досуха и напоить. Ишь, замаялись! А ко мне посланца зови!

Князь сошел с коня у дороги и, войдя на опушку леса, стал взволнованно ходить взад и вперед. Антон принял его коня. Дружинники друг за другом подъезжали к месту стоянки на измученных конях и облегченно вздыхали, с трепетом косясь на сумрачного князя.

– Иди к князю! – сказал Антон Власу, когда тот подъехал.

Влас взглянул в сторону князя и обомлел, но все же сделал несколько шагов и, не доходя до князя, упал на колени и пополз к нему, воя и причитая:

– Будь милостив, князь – батюшка! Неповинен я, подлый смерд твой, в беде твоей. Послали меня, раба твоего недостойного, умишком скудного, до твоей милости, чтобы всю правду тебе сказать, как перед Богом!

Он медленно подползал, ежась от страха, и выл все жалобнее, надрывая душу. Князь остановился, взглянул на него, и у Власа на миг онемел язык – так грозен показался ему его владыка.

Высокий, широкий, с сухим, острым лицом, обрамленным черными, как смоль, волосами, с горящим взглядом, князь в своем золоченом шлеме со стрелкою, в сверкающих латах, с мечом у бока действительно олицетворял в эту минуту властную силу, не знающую преград в своем гневе.

– Говори, смерд, все, как было! Откуда скоморохи взялись?

– На Москву шли, царь – батюшка; по пути зашли, по пути!

– Кто позвал?

– Княгиня – матушка зазвала. Скуки ради, чтобы потешить ее, матушку, и князюшку.

– Днем?

– Днем, батюшка, сейчас, почитай, после обеда.

– А потом ушли и увели?

Антон осторожно подошел к князю и положил на землю высокое седло. Князь в изнеможении опустился на него.

Влас задрожал при его вопросе.

– Не так, батюшка! Они у нас заночевали, а в утро...

– Ночью бражничали?

– Не смею грех утаить! Было!

– Ну, ну!.. И как увели?

– Под утро. Ушли это они – и все. А потом князюшка с санными девками в сад убег, в прятки, слышь, играли. Он и сгинул. Пошли искать, а из тына-то целая тычина вынута, а подле той тычины княгинюшка опоясок нашла и обмерла.

Князь вскочил.

– И княгиня больна?

– Ой, больна, батюшка! Меня девка Наталья к тебе погнала, а Ерему – за бабкой повитухую, а Акима – в погоню. Может, и нагнал злодеев-то!

Князь схватился руками за голову. И Анна больна, может – умирает: ведь она на сносях была. И, не будучи в силах сдержать нетерпение, он снова приказал седлать едва передохнувших коней.

Садясь на коня, он вдруг словно вспомнил.

– А ты бражничал тоже? – спросил он Власа.

Тот упал ему в ноги.

– Согрешил окаянный! Как и все!

– Двадцать батоков! – сказал князь Антону и вскочил в седло.

И снова началась бешеная скачка.

Мрачные мысли заполнили голову князя. Скрасть его наследника, его гордость! Не иначе тут, как чей-то злой умысел. Слов нет, крадут детей скоморохи, но еще слышно не было, чтобы из княжьей усадьбы увести осмелились. Может, и дома где-нибудь гнездится измена.

– Я покажу им! – почти вслух произнес князь, и в его глазах словно сверкнули молнии.

Наконец показалась усадьба. Князь вынесся вперед, оставив всех далеко за собою, и, подлетев к воротам, быстро соскочил с коня. С наворотной башенки его заметили еще издали, и, едва он подъехал, как настежь распахнулись ворота.

Мрачнее тучи вступил князь на свой широкий двор и почти не взглянул на челядь, что стояла на коленях позади Степаныча, растянувшегося плашмя.

– Где княгиня? – спросил он, ни на кого не глядя.

– В бане, князь – батюшка, – ответило несколько робких голосов.

Князь отпоясал тут же на дворе свой меч, снял шлем и латы, отдал их Антону и в одном шелковом кафтане пошел прямо в баню, стоявшую на заднем дворе, недалеко от сада.

– И будет вам ужо! – сказал Антон перепуганной дворне.

Князь вошел на крыльцо бани и несколько мгновений простоял, собираясь с силой; потом он разом толкнул дверь и вошел в первую горенку. Там сидели высокая, сухая, с желтым, сморщенным лицом старуха и несколько санных девушек. Увидев князя, они взвизгнули и повалились ему в ноги. Одна старуха не стала на колени и смотрела на князя живыми черными глазами.

Князь пытливо посмотрел на нее и спросил:

– Ты и будешь бабка – повитуха, что из Коломны?

Старуха отрывисто поклонилась князю в пояс и ответила:

– Истину, батюшка, молвил. Я и есть!

– А звать тебя?

– Звать, батюшка – князь, Ермиловной с Сорочьих.

– Ты же и княгиню пользуешь? Что с ней?

– С испуга выбросила, батюшка. Согрешила! Ты уж не будь к ней немилостив, – бойко проговорила она, снова отрывисто кланяясь.

Князь сверкнул на нее взором, но она не потупилась.

– Ведь не с охотки, – продолжала она. – Я к тому, что теперь она в расслаблении. Напугаешь ее, руда {Кровь.} бросится и не заговорит мне... Помрет!

Князь вздрогнул и отступил.

– Помилуй Боже! – сказал он смиряясь. – А заглянуть можно?

– В щелочку! Подь сюда!

Девки все время стояли на коленях и давались диву, как сумела смирить Ермиловна грозного князя. Воистину привороты всякие знает.

– Посмотри и иди! – сказала тем временем старуха, – а я подготовлю ее, болезную... После придешь.

– Ладно, старая, – ответил князь и осторожно заглянул в щелку.

В предбаннике, прямо на полу, на пышной перине лежала молодая княгиня в полубесчувственном состоянии. Бедная! Как побледнела она: лежит, что плат, белая. Лицо – осунулось, нос и подбородок заострились, а вокруг глаз легли темные круги. Сердце князя сжалось тяжелым предчувствием. Он обернулся к старухе:

– Умрет княгиня – не видать тебе Коломны!

– Зачем умирать! Жить будет, – ответила старуха. – Иди пока что, а то еще по голосу признает, всполохнется.

Князь осторожно вышел, прошел в дом, вошел в молельню, всю завешанную образами, и упал на колени пред иконою Николая Чудотворца. Некоторое время он лежал молча, прижавшись лбом к полу, потом поднял голову и, широко крестясь, заговорил:

– Святый угодник и чудотворец, вразуми и наставь! Да не знает мое сердце злой неправды, да не опустится рука моя на невинного. Владыко и чудотворец, не оставь милостью: помоги сына найти, а я за то воздвигну храм имени твоего. – Он обернулся к иконе Варвары – великомученицы. – Пошли, угодница, здоровья княгинюшке. Закажу паникадило чистого серебра в три пуда!

Он встал и приложился к образам; после того он, успокоенный, вышел на крыльцо и позвал Антона.

– Зови Степаныча! – сказал он, садясь на крыльцо.

Не подошел, а подполз, как раньше Влас, к нему старший ключник.

– Ну, мой верный слуга, расскажи-ка мне, – начал с суровой усмешкой князь, – как ты скоморохов господским добром угощал да всю ночь с ними, старый пес, бражничал?

– Смилуйся, князь! – стучаясь лбом, заголосил ключник, – с приказа княгинюшки брагой и пивом поил.

– Что же это она на всю ночь гульбу заказала вам всем? Не верится что-то!

– Смилуйся, князь! – повторил Степаныч.

Князь встал.

– А сведи меня к месту, где татьба соделана!

Степаныч поднялся и неуверенными шагами пошел впереди князя.

– Тут, батюшка, – указал он на место, где из тына был выворочен тяжелый столб.

Князь заглянул в яму.

– Ишь, локтя два земли выкопано, – сказал он, – одному и не управиться. А кто дозором ходил в ту ночь?

– Яшка Пузырь да Никашка, да Петька Гуляйко!

– Позвать!

Антон бросился к службам. Три здоровенных парня вышли и упали на колени.

– Чай тоже бражничали? – спросил князь с усмешкой.

– Бес попутал! – воскликнули все трое.

– А ну! Всыпь им столько батожьев, чтобы глаза на лоб вылезли, да здесь же, у колдобины! – распорядился князь и пошел назад к крыльцу.

Княжие дружинники по зову Антона распнули парней и начали расправу.

– А кто с Мишенькой был? – спросил князь Степаныча.

– Пашка да Матрешка, батюшка – князь!

– Позвать!

И опять, валяясь в ногах князя, завыли и заголосили две сенные девки. В знак печали они остригли свои длинные косы и разорвали сарафаны.

Князь злобно посмотрел на них.

– На том свете вы за раденье свое ответите, а теперь под Казань грех замаливать пойдете. Есть там у меня вотчинка, а по соседству монастырек. Туда и будете!

Пашка без чувств упала на землю.

Из толпы челяди выступил огромный детина и опустился на колени.

– Смилуйся, князь, невеста просватанная. Матушка – княгиня сама благословить изволила.

Князь нахмурился.

– Звать тебя?

– Аким, во псарях у твоей милости.

– Ты погоню правил?

– Истину говоришь. Только, что я мог? – он развел руками. – Лошаденки худые, кругом лес; опять, может, два часа, может, три спустя хватились. Они тропинками да чашей!

– С кем ездил?

– А тут пять людишек прихватывал.

– Всем по двадцати батоков! – решил князь и поднялся. – А его повесить! – сказал он Антону, указывая на Степаныча.

Стон и крики огласили усадьбу. Князь сидел в своей горнице и, сжимая голову руками, снова думал неотвязную думу.

«Кому надо? Не иначе, как по наговору сделано. И где спрятали? Может, и найти уже поздно. Убили, искалечили!» – вспомнил он, как недавно казнили скоморохов за то, что подьячего сына скрали и очи ему выжгли, вспомнил и вскочил, словно ужаленный.

О – о-о! И что за горемычная его доля! Что за муки – мученические!

«Искать! Погоня! А где искать? Куда гнаться? – Он снова сел. – Ну хорошо! Завтра и эти дни много скоморохов на Москву придут. Что же, всех в застенки не перетаскаешь!.. Ах, не будь этих дней, – снова с горечью подумал он, – нарядил бы погоню во все концы, сидел бы сам подле Аннушки! А тут тоска на сердце, душа – что туча, а должен ехать и со светлым лицом делить царскую радость».

Он заломил руки. Лестно отличие царевы, да подчас ой как тяжка его великая ласка.

– Батюшка князь! – окликнул его с порога Антон, – девка Наталья к княгинюшке тебя просит. Оповещена она.

Князь быстро встал, отер тылом кулака глаза и пошел к ней. Все ушли и оставили их одних. Уж и целовались они, и плакали! Горе словно крепче спаяло их, и князь, на миг забыв о сыне, думал только о ее здоровье.

– Как выздоровлю, по монастырям пойду. Отпусти меня, господин мой! – воскликнула княгиня.

– Да нешто я против? Молю Бога! Только сама-то ты, сама-то недолго недужься. Ты в монастыри, а я погоню наряжу да в разбойном приказе оповед {Сообщение.} сделаю, да боярину Петру Васильевичу отписку дам. Пусть он и в Рязани у себя поищет.

И долго они говорили, утешая и лаская друг друга. Лютая злоба стихла в сердце князя и сменилась тихой грустью.

К вечеру он простился с женою.

– Завтра на Москве дела, а в ночь встречать нашего батюшку выеду. В почете мы! – прибавил он с усмешкою. – А ты поправляйся. Бабка-то сама по себе, а дьячку вели у нас в часовне читать все время!

Княгиня с плачем бросилась в его объятия.

Князь вышел и приказал Антону готовиться в дорогу.

– Да спроси челядь, кто из них лучше в лицо скоморохов помнит. Двоих на Москву возьми. Лошадей дать под них! А Пашку с Матрешкой в монастырь не надо. Пусть просто живут; на тягло их туда, в вотчину. Ну, готовься!

IV Встреча отца с сыном

Не радостен и не светел лицом был князь Теряев, собираясь на великую торжеством встречу митрополита ростовского Филарета Никитича.

– Ты уж не кручинься так-то! – уговаривал его Федор Иванович, – смотри, может, завтра твои людишки скоморохов выследят. Тогда живо мальчонку найдем.

Теряев в ответ вздохнул, обряжаясь в свои лучшие доспехи. Он надел дорогой шелковый тешляй, а поверх его – легкий бахтерец {Доспехи, состоящие из плоских полуколец.} с нашитыми на плечах, спине, груди и локотниках серебряными с золотою насечкою пластинками, надел наручи и наколенники из такого же серебра, зеленые сафьяновые сапоги с серебряными подковками и подвязал меч.

Шереметев вышел проводить его на крыльцо. Княжеские дружинники стояли нестройной толпою. Антон держал в поводу серого в яблоках аргамака.

– Ну, пока что, прощай! – сказал Теряев, надевая на голову легкий шелом с острою верхушкою.

Шереметев усмехнулся.

– В полудень встренемся. Я при царе буду!

– Ин так!

Князь вскочил на коня и взял в руки длинное копьё. Дружинники вмиг очутились тоже на конях. Ворота раскрылись, и конный отряд с князем Теряевым во главе медленно поехал по спящему городу за реку Пресню.

Царь Михаил Федорович, чтобы почтить своего отца, выслал ему три почетных встречи: первую – в Можайск с архиепископом рязанским Иосифом и князьями Дмитрием Михайловичем Пожарским и Волконским, вторую – на Вязьму с вологодским архиепископом Макарием, боярином Морозовым и думным дворянином Пушкиным, третью – с митрополитом Ионою, князем Трубецким и окольным Бутурлиным – на Звенигород и на полупуть – князя Теряева – Распояхина с тем, чтобы последний, увидев великого страдальца, поскакал к нему, царю, оповестить о приближении его батюшки.

Князь проехал верст двадцать и стал станом, далеко вперед себя услав четырех конных, чтобы, взлезши на деревья, сторожили с верхушек дорогу. Сам же он, сойдя с коня, но не снимая доспехов, встретил восходящее солнце с мрачными думами и тоскою на сердце. Всюду мерещились ему то его Миша, то любимая жена. Мечется она, быть может, умирая, и в тоске кличет его, а он должен со светлым лицом оповестить царю великую радость. Видится ему Миша: тащат его лютые разбойники, каленым железом вынимают светлые глазки, бьется он в руках палачей, зовет своим голоском тятю, а его тятя должен со светлым лицом оповестить царю великую радость.

– Горе мне, горе! – закричал не своим голосом князь и в отчаянии упал в траву ничком.

Антон, видя отчаяние своего господина, перекрестился и вздохнув, сказал:

– Не коснись волос своих, пока не объявится молодой князюшка!

Этот обет несколько утешил его волнение. Вдруг он увидел мчавшихся к ним трех всадников.

– Едут, едут! – кричали они, показываясь в облаках пыли.

Антон подошел к князю и тихо позвал его. Теряев поднял голову, и лицо его выражало полное недоумение, словно он только что проснулся.

– Едут! – сказал Антон господину.

Князь тотчас вскочил на ноги и быстро оправился.

– Коня!

И кони помчались, гремя доспехами, в Москву.

Толпы народа уже запрудили улицы. Князь со своим отрядом домчался до Кремля и сошел с коня.

На площади, от царского терема, от Красного крыльца Трубецкой двумя шпалерами ставил стрельцов в зеленых кафтанах с алебардами в руках. Увидев князя, он кивнул ему.

– Едут, – ответил Теряев и вошел в теремные ворота.

Во дворце шла суета. Окольничие, бояре, думные, стольные, кравчие – все, кто знатнее и местом выше, толпились в царских покоях, готовясь к выходу. В длинных парчовых кафтанах с воротами, подпиравшими их стриженные в скобку затылки, с длинными бородами, в высоких шапках, они важно ходили и стояли, не будучи в силах сделать ни одного свободного движения. Увидев князя, они окружили его.

Князь поднял руку и сказал:

– До царя – батюшки. Где царь?

– В молельной! – ответили все хором, а боярин Стрешнев прибавил:

– Сейчас из Вознесенского прибыл, у матушки – царицы – дай ей Бог многая лета здравствовать! – благословение принял.

В это время к Теряеву подошел окольничий Борис Михайлович Салтыков:

– Государь – батюшка в беспокойстве.

– Иду! – ответил князь.

Царь Михаил Федорович, окруженный слугами, перешел из молельни в свой покой и оканчивал свое одевание. Князь вошел и опустился на колени.

– Государь, твой батюшка – да продлит Бог его жизнь – на три часа времени пути от Москвы, – сказал он и, ударившись лбом об пол, поднялся на ноги.

Царь милостиво кивнул ему головою.

– Спасибо на доброй вести, князь! Жалуем тебя в свои окольничие!

Салтыковы нервно дернулись на своих местах.

Теряев снова стал на колени и стукнулся лбом в землю, сказав при этом:

– Жалуешь не по заслугам убогого раба своего!

– А теперь поди, – милостиво приказал государь, – прикажи звон поднять. Уж и велика радость моя! – прибавил Михаил.

Его молодое, несколько грустное лицо осветилось неподдельною радостью, и на карих глазах блеснули слезы.

– А мы, государь, твоей радостью рады, холопы твои! – поспешно ответили ему Салтыковы, рабски целуя его в плечо и почтительно беря под руки, чтобы вести. Теряев вышел на Красное крыльцо и махнул рукою. И тотчас загудели колокола Успенского собора, подхватили их звон колокола, доски и била других церквей, и воздух наполнился радостным гулом.

Тронулось шествие из Кремля с хоругвями, с крестами и иконами за реку Пресню. Народ двигался густыми волнами по улицам, напором своих боков ломая заборы, срывая ставни, давя и толкая друг друга. Все двигались к месту встречи царского отца с сыном, и скоро огромное поле было все засеяно людьми всякого звания, возраста и пола.

Капитан Эхе терся тут же в толпе, стараясь протиснуться вперед. Пыхтя и сопя, он деятельно работал локтями, словно в разгар битвы, и со всех сторон на него сыпалась отборная брань. Но капитан смело двигался вперед и наконец остановился в переднем ряду, возле какого-то дьякона. Нос у последнего был сизый, обрюзглое лицо лоснилось от пота, синие губы отвисли, и он бормотал про себя:

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!

– Едут, едут! – гулом пронеслось по толпе.

И действительно в облаках пыли показалось торжественное шествие. Впереди шли вершники по два в ряд, за ними целый полк стрельцов, ездивших за высоким пленником, и наконец

огромная карета, запряженная восемью лошадьми цугом, а сзади – царские встречные и опять стрельцы и дружины высланных навстречу князей и бояр.

Едва показалось это шествие, как в царском стане произошло замешательство. Заколебались в воздухе кресты, завяли хоругви, и длинным рядом установилось духовенство по чину. Царь без шапки, с радостным, ликующим лицом пошел быстро, как юноша (ему было в то время двадцать три года), забыв о царском сане.

Шествие остановилось. Из колымаги вышел высокого роста человек в монашеской рясе и в клобуке и двинулся к своему царственному сыну.

После тяжелой разлуки и тревожных дней сын увидел своего отца, пред которым в робости привык всегда покорно смиряться. После гонений и плена отец увидел наконец своего сына, возмужавшего, окрепшего, волею народа вознесенного на необычайную высоту. И этот взволнованный отец, почитая высокий сан своего сына, упал на землю и распростерся пред ним. Сын с воплем изумления и радости упал тоже. «И оба лежали на земле, из очей, яко реки, радостные слезы проливая», – повествует летописец.

Все поле огласилось плачем, но это были радостные слезы. С просветленными лицами поднялись разом отец и сын и бросились в объятия друг друга. Народ обнажил головы и упал на колени.

Даже Эхе сдернул свою прилбицу и стал на колени.

– Да, да, – бормотал он, – они должны быть очень рады!

– Очень, очень, – передразнил его дьяк, – «и ангелы ликуют на небесех» вот; а ты, латинец, – «очень»! – И дьяк поднял вверх палец.

Шествия сомкнулись. Отец – инок с сыном – Царем, держась за руки, вошли в колымагу, и поезд тронулся к Кремлю. Народ побежал рядом, сдавливая участников торжества. Все уже знали, что на Красную площадь выкатили бочки вина, и все спешили на даровое пиршество.

Гул от звона и веселых кликов стоял в воздухе. Митрополит Филарет сидел, держа за руку своего сына, а другою благословляя народ, и слезы умиления катились по его суровому, изможденному лицу.

– Словно вновь рождаюсь! – говорил он, а его сын заливался слезами и целовал отцовскую руку.

У Кремля их снова встретило духовенство. Филарет вышел из колымаги и приложился к вынесенным иконам. В соборе его встретил находившийся в то время в Москве Феофан, патриарх иерусалимский. Отстояв благодарственный молебен, Филарет вошел наконец во Дворец и час спустя остался с глазу на глаз со своим венчанным сыном.

А в Москве шел пир. Выпущенные из тюрем колодники, пропойцы, ярыжки, скоморохи метались по улицам, наполняя их криками, песнями и бесчинствуя среди общего ликования.

Великий отец венчанного сына твердым шагом вошел в царские палаты и сказал сыну:

– В молельню!

Сын повел отца через приемные покои, через тронную палату, через свои горницы и ввел его в угловой покой, весь завешанный образами, пред которыми в драгоценных паникадилах тускло мигали неугасимые лампы. Дневной свет, врываясь через разноцветные стекла окон, побеждал таинственный сумрак углов, и свет лампадок тенями скользил по строгим лицам угодников.

В углу перед киотом стоял аналой, а пред ним был разостлан коврик.

Филарет вошел, осенил себя широким крестным знаменем и, став на колени, припал головою к полу. Сын опустился с ним рядом в своем великолепном царском уборе, и трогательную картину являли они собою в этот торжественный момент.

С почтением, близким к благоговению, смотрел сын на своего отца, а тот в темной рясе, с серебристыми волосами, со строгими чертами подвижнического лица подымал свой стан, благоговейно крестился и снова с умилением бился головою пред иконами. А сын не мог молиться,

тронутый молитвами своего отца. Он смотрел и думал, как он мал и скуден пред своим великим отцом, так много послужившим родине, так пострадавшим за нее и от своих, и от недругов. Чувствовал он, что близок миг, когда отец призовет его к ответу, и собирался с думами, и трепетал, и боялся, забыв свой трон и венец, и видел себя только покорливым сыном.

А Филарет продолжал молиться; и слезы оросили его лицо, и благодарностью смягчились его суровые и энергичные черты.

О чем он молился?

Неисповедимыми путями ведет Господь жизнь человека, умаляя великого, возвеличивая малого. Может быть, пред умственным оком Филарета (Федора Никитича Романова) промелькнула вся его жизнь. С молодости судьба взыскала его, наградив умом, доблестью и красотой. В ранних годах, вода войска на окраины, он покрыл себя славою победителя и пленял всех обаянием своей личности. Было время царствования слабого Федора Ивановича и потом Бориса Годунова, когда он считался первым щеголем при дворе, и много женских сердец завидовали счастью Ксении Шестовой, ставшей его супругой. Но сильнее их завидовал своему боярину пугливый Борис Годунов, и наконец его зависть разразилась опалю. Силою постригли Федора Романова в монахи и заключили в Антониево – Сийскую пустынь, где он промучился шесть лет, разлученный с женою (тоже постриженной) и дорогими детьми. Дмитрий Самозванец возвратил его, возвел в сан митрополита ростовского и ярославского и дал ему душевный покой. Но недолго наслаждался им Филарет Никитич. Наступило Смутное время. Тут он показал всю свою доблесть, величие духа своего. Он был послан для переговоров с поляками к польскому королю Сигизмунду, но его посольство превратилось в тяжкий плен, длившийся целых шесть лет.

И вот его сын Михаил венчан на царство, сам он снова на родине, и народ русский смотрит на него с упованием. Не его ли заслугами отличен и возвеличен Михаил – этот нежный, слабый умом юноша, подчиненный власти своей матери? Не на его ли плечи ляжет теперь крест, возложенный на слабую выю сына? И то смиренный он благодарил Господа за милость, посланную ему, и за величие сына, то полный честолюбивых мыслей просил у Господа благословения на трудный подвиг правления.

Наконец Филарет встал, освеженный молитвою, и нежно помог подняться сыну, царское одеяние которого по своей тяжести требовало немалой силы от носившего его.

– Благослови! – припал к его руке Михаил.

– Благословен будь! – ответил отец, налагая на него знамение, и помолчав сказал: – Господь Бог, правя волею народа, наложил на слабые плечи твои великое бремя. Поведай же мне, что делал, что думаешь делать, кого отличил и кого карал за это время!

Сын покорно опустил голову.

– Где государевы дела правишь? – спросил отец.

– Тут, батюшка!

Михаил ввел отца в соседний просторный покой, уставленный табуретами и креслами без спинок, посреди него стоял стол, покрытый сукном, на столе – чернильница с песочницей в виде ковчега, и подле них лежали грудой наваленные белоснежные лебединые перья. Подле чернильницы на цепочке был привешен серебряный свисток, заменявший в то время колокольчик, тут же лежали ухвертки и зубочистки, а посреди стола – длинными полосами нарезанная бумага. Исписанные полосы потом склеивались и свертывались в трубку, образуя свиток. Невдалеке, сбоку, лежала грифельная доска с грифелем в серебряной оправе. По стенам покоя стояло еще несколько столов. На одних лежали грубо начерченные географические карты и астрономические таблицы с символическими изображениями созвездий, на других стояли часы, до которых Михаил Федорович был большой любитель.

Филарет строгим взглядом окинул покой, опустился в кресло и положил руки на его налокотники. Царь сел напротив, и некоторое мгновение длилось тяжелое молчание.

– Слышал я, – начал Филарет, – что в великом разорении царство твое.

– В великом! – прошептал царь Михаил.

– Что от врагов теснение великое, казны оскудение, людишкам глад и бедствия всякие.

Царь опустил голову, но потом поднял ее и заговорил:

– Как пришли послы от земли ко мне с матушкой на царство звать меня, мы тотчас отказались. Замирения нет, раздор везде, вражда и ковы {Ковы – злые умыслы, заговоры.}. Со слезами просить стали. Что делать?

Филарет задумчиво покачал головой.

– Млад был, – сказал он, – скудоумен, кроме кельи матери, что видел?

Царь покраснел.

– Оттого и отнекивался, и трепетал венец приять. Но умолила и благословила матушка. – Он перевел дух и, отстегнув запонки у ворота своего кафтана, продолжал: – Как на Москву шли, поляки меня извести хотели. Крестьянин села Домнина Иван Сусанин, спасибо, злодеев с дороги сбил. На Москву пришли – разорение. Двора нет. Все огнем спалено, и народ в плаче и бедствии. Молился я Господу: «Вразуми!»; не было тебя, государь – батюшка, кому ввериться.

Филарет кивнул.

– И пошли бедствия на нас отовсюду. Поначалу Заруцкий с Маринкой смуту чинили. Князя Одоевского послал я. Избили их; Ивашку, нового самозванца, повесили, Маринка в Коломне померла. А тут шведы Псков разбивали. Князя Трубецкого послал я, да его войско рассеяли шведы, тогда же Новгород грабили. Ну, стал я замирения просить. А там Лисовский, лях, как волк, по матушке – Руси рыскал. Воеводу Пожарского его изымать послал я, да увертлив пес этот Лисовский. Разбойники на Волге собрались. Ляхи обижали. А тут и все разом: Сагайдачный с казаками приспел, ляхи с Владиславом; под самую Москву о Покров подошли. Не помоги Пресвятая Богородица, взяли бы Москву и меня полонили бы. Помогла Заступница, и отбились мы; а теперь сделали договор, чтобы мир на четырнадцать лет и шесть месяцев.

– Знаю! – остановил его Филарет и, встав, начал тихо ходить по горнице, причем его лицо сурово нахмурилось.

– Казны не хватило, – продолжал царь, – спасибо, людишки помогли: весь скарб несли. Опять земские посошные брали, с каждого быка.

– Слышь, подле себя дрянных людишек держишь, – заговорил вдруг Филарет, – Михалка да Бориска Салтыковы что за люди? Скоморохи, приспешники! А Морозов в загоне, Пожарский в вотчине!..

Царь покраснел.

– Любы мне Салтыковы, – тихо ответил он, – скука берет подчас, а они такие веселые. Опять матушка им быть при мне приказала.

Лицо Филарета вдруг вспыхнуло, и он резко произнес:

– Не бабьего ума дело в государское дело вмешиваться. Ей грехи замаливать, а не царя учить!

Михаил затрепетал. Он уже чувствовал над собой могучую волю отца.

Филарет подошел к нему и заговорил:

– Господь избрал тебя священным сосудом милости Своей и величия. Тяжкое бремя возложил на тебя народ твой, так будь царем. Дай мир уставшим воевать, хлеба голодным, будь покровом и защитой. Велик подвиг твой, так не скучать и от скуки скоморохов держать надо, а трудиться неустанно, пещись о благе народа своего. Окружить себя надо людьми ума государственного, а не бабы наговоры слушать. Возвеличить имя свое надо и уготовить наследникам царство обильное, миром упокоенное!

Царь опустил на колени и проговорил потрясенный:

– Батюшка, помоги!

Лицо Филарета просияло, он поднял сына и поцеловал его в лоб.

– Не оставлю тебя своим разумом! – сказал он. – Ну а теперь, пожалуй, и опять на народ надобно. Заждались, чай, тебя бояре, пиروвания ждут.

V Твердая рука

Звонили в этот день и в женском Вознесенском монастыре, и каждый удар колокола острой болью отзывался в сердце царственной монахини Марфы.

Дочь дворянина Ивана Васильевича Шестова, Ксения Ивановна вышла замуж без особой любви, по теремному обычаю, за Федора Никитича Романова и мало видела с ним радости. Может быть, оба молодые, оба красивые, они и нашли бы счастье, если бы не их властные характеры, которые, сталкиваясь, были подобны кремню и огниву, высекая искры раздора. Мало было свободы у женщины того времени, семейный быт которого сложился по «Домострою», и гордая Ксения таила в своем сердце мятеж и бурю.

Грозная опала коварного Годунова разразилась и над нею, и стала она в пострижении Марфою. Но не смутила и не огорчила ее эта опала. Не жалко ей было светской жизни, которая мало чем отличалась для женщин от монастырской, не жалко было и разлуки с властным мужем, а окружавшие ее дети доставили ей великую радость, дав волю ее своевластию и удовлетворяя ее материнское честолюбие. В страхе перед ней и покорности взрастила она их.

И как возликовало честолюбивое сердце инокини Марфы, когда в Кострому пришли звать на царство ее кроткого сына Михаила. Знала она, что смиренный сын весь в ее воле, знала, что пока она будет жива, не выйдет он у нее из повиновения, и ее сердце наполнялось и ширилось от гордости, когда, долго отнекиваясь и видя печаль послов, она наконец благословила сына на царство и, как малого ребенка, повезла его на Москву.

Там, в смирении, она оставила его у порога царских палат, а сама отъехала в Вознесенский монастырь, но и находясь в монашеской келье, она правила государством Российским.

Ни одной мысли не скрывал от нее юный царь, ни одного дела не начинал без ее благословения. Возила она его на богомолья и к Троице, и к Николаю на Угреше, окружила его обрядами, окурила его ладаном, зачитала молитвами – и сладок был Михаилу такой образ полумистической жизни, погружавшей его душу в смутный сон.

И в то же время Марфа окружила его своими клеветами из своей многочисленной родни, внушавшими ему мысли и поступки; во главе их стояли грубые Салтыковы.

Мирно в безграничной власти проживала Марфа, забыв о своем бывшем муже, как вдруг вспомнился он всем, взволновал своим именем государство и теперь вернулся в Москву, окруженный ореолом страдания, возвеличенный неподкупной верностью отечеству, любимый народом, чтимый даже иноземцами, умный, гордый, непреклонный, великий отец русского царя.

«Бим – бом! Бим – бом!» – весело гудели колокола, приветствуя царскую радость, а Марфе этот звон казался погребальным, потому что она ясно сознавала, что теперь уже не в силах удержать за собою власть над сыном. Только благословение и проклятие в ее власти, а государевы дела не вершить ей из кельи. И раньше она для видимости сторонилась их, действуя через клеветов, а теперь разве им, грубым и глупым, устоять пред великим умом Филарета и его помощниками?

Призрак власти исчез, как исчезает туман при солнце, и гордая Марфа никла своей головою, украшенной черным клобуком.

Мрачно и уныло было в ее покоях. Служащие при ней чувствовали ее обиду и тихо шептались, осторожно ходя по узким переходам и лесенкам. Монахини строго поджимали губы и молча и сокрушенно взглядывали друг на друга, словно говоря: «Конец нашей власти». А среди тишины звуки колоколов радостно и весело разливались по воздуху.

Не меньше Марфы сокрушалась и упала духом старица Евникия, мать Салтыковых, близкий друг царской матери. Знала она, что в своей заносчивости не видели предела ее сыновья, и чувствовала, что близится теперь час возмездия.

В полутемной горнице – келье, угол которой весь был завешан драгоценными образками, сосредоточенно думая свою думу, в кресле с высокою спинкою сидела Марфа, а вокруг нее суетливо сновала старица Евникия. Кипело ее сердце, и хотелось ей отвести свою душу, но мать – царица хранила строгое молчание, и Евникия боялась нарушить его. Наконец она не выдержала и заговорила:

– Великая теперь радость по Москве идет. Слышь, бочки вина выкатили, тюрьмы открыли, всех с правежа {Правеж – принуждение к уплате долгов, пошлин и т. п. битьем батогами.} свели.

– Радость и есть, – сухо ответила Марфа, – сын мой своего отца встречает. Кто отцу не рад!

– Вестимо, вестимо! Про что же и я? Великая радость! – заторопилась согласиться старица, а сама подумала: «Не вижу я что ли, чего отвод делать?». И досада пуще разгорелась в ее сердце. – Тому и все люди радуются, – продолжала она, – говорят, слышь, царь наш батюшка дал слово ему во всем своем послушании. Все бают, по – новому будет, Филарет Никитич все в руку властную возьмет.

– Кто говорит? – быстро спросила Марфа.

Старица Евникия только этого и ждала. Она приблизилась к креслу и заговорила:

– Бориска был у меня... прямо от палат царских прискакал. Слышь, Филарет Никитич всех в покоях оставил и царя вовнутрь увел. Часа с два сидел и все не уходил. Бориска прискакал, а Михалка ждать остался. Бают, Филарет Никитич словно допрос царю – батюшке чинил. Марфа судорожно сжала налокотники кресла и сдвинула брови.

– Еще что говорят?

– А еще, что все по – иному будет, – уже слезливым голосом заголосила старица, – что всех верных слуг царских прочь отметут, а на место их у преосвященства уже ставленники заготовлены. Слышь, воевода князь Пожарский уже жалился, что его с головой моему Бориске выдали. Боярин Шеин, слышь, много силы заберет. Мало ли что бают!

– И пусть, – криво усмехаясь, произнесла Марфа, – только одно скажу: никому не отнять у матери ее детища! – и, встав, она твердой поступью прошла по горнице, снова отдаваясь своим мыслям.

В эту минуту в дверь горницы постучались.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! – произнес за дверью свежий молодой голос.

– Аминь! – ответила Марфа, остановившись на середине.

В горницу вошла молодая черничка и, земно поклонившись, подошла к руке Марфы.

– С чем?

– Боярин Михайла Михайлович Салтыков просит явиться пред твои очи, мати! – с поклоном ответила черничка.

– Зови сюда!

Черничка скрылась, и скоро в горницу бережливой поступью вошел Михаил Салтыков. Он был молод, красив и строен, но близость к царю сделала его лицо наглым, движенья грубыми, голос властным. Одет он был в богатый кафтан, перехваченный поясом с драгоценными камнями, в его руке была высокая шапка, у пояса нож с дорогой рукоятью. Однако в Вознесенском монастыре он оставлял свою наглость и старался казаться смиренным, отчего его лицо принимало холопское выражение.

Войдя, он истово помолился на образа, потом стал на колени и земно поклонился царственной матери.

– Господь с тобою! – сказала Марфа на его приветствие. – Встань!

Салтыков смиренно встал и поздоровался с матерью.

– Ну что, вести привез? – вкрадчиво спросила старица Евникия у сына.

– Вести, матушка, – ответил он, кладя руку на пояс, – слышь, к тебе, государыня, – он поклонился в пояс, – царь – батюшка с митрополитом пожалуют вскорости.

– Что же, от брашна {Брашно – пища, еда.} встали? – с усмешкой спросила Марфа.

– Не встали еще, а порешили, как отдохнуть, так и ехать. Скороходов и вершников от мест не пустили; коней не увели.

– А что же ты брашна не кончил?

– Поспею еще, а до тебя, государыня, прямо от стола утайкой ушел. Думал, скажу вести.

– Что же за вести принес ты?

Салтыков оправился.

– А то, государыня, что царь плакал много и всем нам приказал батюшку своего тоже государем величать. А потом стал он просить его принять над всей Русью патриарший сан, и все просить начали. Тут я и ушел.

Он замолчал.

– А кто рукоположит?

– А бают так, что как у нас на Москве гостит его святость Феофан, патриарх иерусалимский, то...

– Знаю, знаю! – перебила его Марфа. – Что же, так и надо: без патриарха не можно быть. Ну, иди на пир, не то еще встренутся. А на вестях спасибо!.. Скоро, скоро забудут меня все тут, в одинокой келье!

– Только не мы, государыня! – ответил Салтыков, снова земно кланяясь, и, пятясь, скрылся за дверью.

На время все стихло.

– Утомилась я, – тихо сказала Марфа, – пойду-ка засну.

– Усни, государыня, – участливо ответила старица и, взяв под руку Марфу, осторожно повела ее в соседнюю горницу.

Но Марфа не могла заснуть. Она собиралась с силами, чтобы встретить своего бывшего мужа, теперь почти ненавистного ей за то, что он посягал на ее сына, на ее власть.

Языки колокольные так не бились, как забилося ее сердце, когда она услышала колокольный звон, и старица Евникия, вбежав к ней не по – старчески бодро, испуганно сказала:

– Едет, государыня, едет!

Марфа быстро встала. Ее лицо было бледно и решительно.

– Вели церковь открыть... с образами и крестом выйди. Да прикажи старицам собраться, всех собери, черниц на клир поставьте... Ну, скоро!

В бархатной колымаге, запряженной в восемь лошадей белой масти, с вершниками у каждой, со скороходами впереди, подъехали к монастырю отец с сыном и, остановившись не доезжая врат, вышли из нее и пошли в сопровождении подоспевших к ним бояр.

В этот же самый миг ворота распахнулись, и трое священников с крестом и иконами остановились посреди двора, осененные хоругвями.

Филарет опустил на колени и земно поклонился трижды; потом, подойдя к кресту, он снова опустил и земно поклонился, после чего приложился к кресту, в то же время благословляя склонившего голову священника. То же он сделал пред иконами, а следом за ним то же делал и царь Михаил, и все бояре.

Потом предшествуемый крестом Филарет вошел в собор, где его встретил настоятель с пением клира. Филарет горячо помолился пред алтарем, приложился к образам иконостаса и только тогда обернулся.

Бывшая в миру его жена, теперь инокиня Марфа, в сопровождении целой свиты стариц приблизилась к Филарету и смиренно поклонилась ему в ноги. Филарет тоже земно склонился перед матерью царя и, подойдя к ней, троекратно поцеловался с нею.

Инокиня Марфа пригласила его к себе в горницы, но, к ее изумлению, Филарет отклонил приглашение, сославшись на усталость.

– Будет еще время, мати, – сказал он, – а теперь прости!

Через полчаса Вознесенский монастырь погрузился в тишину и молчание.

Долго молилась инокиня Марфа в своей образнице. Еще больше старица Евникия ворочалась без сна на своей узкой постели.

Да и мало кому спалось в ту ночь на Москве. Каждый чувствовал, что великая сила ума и энергии стала у кормила правления, и добрые радовались, а злые печалились и трепетали.

В одной из горниц Федора Ивановича Шереметева, ярко освещенной лампадами и свечами, за братиною меда у длинного стола сидели князь Теряев – Распояхин, сам Федор Иванович, Иван Никитич Романов (дядя царя, брат Филарета, истый вельможа того времени) и почетным гостем среди них – Михаил Борисович Шеин, прославленный воевода смоленский, вместе с Филаретом вернувшийся из польского плена. Это был человек лет сорока, с широким, добродушным, несколько грубым лицом, с серыми глазами, в которых выделялись энергия и насмешливость.

– В Польше еще мы слышали про бедования ваши, – сказал он. – Ну да велик Бог земли русской! Перемелется все, мука будет. А уж полячью этому! – И он мощно потряс кулаком в воздухе. – Отольются наши слезы, как окончится перемирие! Подождите, не долго им кичиться! Наступит время, когда они согнут перед нами свою выю.

– Истошала вконец матушка – Русь, – вздохнув, сказал Шереметев. – Бог уж с этой мезью, отдохнуть впору!

– Все будет, все приложится, – уверенно сказал Иван Никитич. – А теперь допьем чаши, да и расходиться пора. Что не весел, Терентий Петрович?

Князь Теряев поднял голову.

– Тяжело мне, – сказал он, – слышь, скоморохи моего сына скрали.

– Ну? Отсюда?

– С вотчины. При матери в терему он был. Сама она теперь больна – того гляди, Богу душу отдаст.

– А ты здесь! Скачи к себе и там сына ищи!

Теряев кивнул.

– Вот только эти дни пробуду. На великом чине быть надо, а там Филарет Никитич хотел повидать меня. Слышь, отца моего он знал.

– Ну и горе твое, горе! – покачав головою, сказал Шеин.

Князь закрыл глаза рукою и припал к столу.

Гости разошлись.

* * *

Спустя два дня совершилось великое торжество рукоположения Филарета в патриархи российские. Следом за этим, как бы в вознаграждение за отнятого сына, патриарх Филарет возвел инокиню Марфу в сан игуменьи Вознесенского монастыря, а сам энергично взялся за управление царством.

В такой деятельности была великая нужда.

Много, много страданий вынесла тогда Россия. Земля была разорена и разграблена. Многие города были сожжены дотла, небоярские усадьбы сровнены с землею. Сама Москва, поруганная поляками, являла собою печальное пепелище. По разоренной земле, как обрывки гро-

зовых туч, рыскали шайки разбойников, буйных казаков, жадные до наживы польские банды и дожигали недожженное, разоряли остатки, грабили нищету. В то же время атаман Заруцкий с Мариною, провозгласив нового самозванца (Ивашку, малолетнего сына Тушинского вора), грозил привести на Москву турок и татар; незамирная Польша и враждующая Швеция громили Русь на окраинах.

В это-то страшное, тяжелое время взошел на престол шестнадцатилетний Михаил Федорович и сразу был окружен мелкими, корыстными людьми, не могущими дать совет и из боязни за себя отстраняющими честных и доблестных людей.

Страшную картину представляла собою в то время Русь. Измена Заруцкого, разбойника Баловня, дерзких лисовчиков, кровавыми пятнами испестрили страницы истории многострадальной Руси. Летописец, современник царствованию Михаила, бесхитростным языком описывает ужасы того времени:

«Во градах же московского государства паки начали быть от воровских людей грабежи и убийства всюду. Ибо во время междоусобия многие казаки воровские пакости деяли, и многие от них таковому делу научились и прекращать не хотели, но, собравшись, тако же творили. Некий предводитель, его же называли Баловнею, и с ним в собрании простые люди, казаки, боярские люди, воровству научившиеся, ходили по московскому государству и запустению его предавали, воюя повсюду. Едины от них воевали на Романах, на Угличе, в Пошехонье, в Бежецком верху, на Беле – озере, в Кашине, в Каргополе, в Новгородском уезде, на Вологде, на Ваге и в прочих тамо прилегаемых местах. Другие же воевали украинные Северские города, всюду творя разбой и убийства и многое надругательство являя над прочими. Иных разрывали надвое, к древесам наклоненным привязывая, иных же огнем сожигали. Прочих же, порошу насыпав в уста, сожигали. Женского же полу людям груди прорезывали и верви вдевали, и вешали. Тако над мужским и женским полом различные муки творили. Иные коварства бумаге передать невозможно. И были повсюду стенания и плач»...

И не было никого, кто утешил бы это великое горе. Сам же царь Михаил, от природы добрый, совершенно безвольный, хотя и обладал умом, но не получил никакого воспитания и едва умел читать, вступивши на престол.

Будучи пленным в Варшаве, Филарет с сокрушением услышал весть об избрании своего сына на царский трон России. Но чуткий к правде Михаил разобрался бы в нуждах своего народа, если бы не окружавшие его.

Голландец Масса так писал о тогдашнем состоянии России:

«Царь их подобен солнцу, которого часть покрыта облаками, так что земля московская не может получить ни теплоты, ни света... Все приближенные царя – несведущие юноши; ловкие и деловые приказные – алчные волки; все без различия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя; к царю нет доступа без больших издержек; прошение нельзя подать в приказ без огромных денег, и тогда еще неизвестно, чем кончится дело: будет ли оно задержано или пущено в ход».

И при всем этом земле русской надо было вновь отстраиваться, отбиваться от врагов внешних и внутренних, и на все это нужны были деньги, деньги и деньги.

Всех чинов люди шли к царю, говоря, что они проливали кровь за родину, а теперь терпят великую нужду, и просили сукон, хлеба, соли, оружия, денег, прибавляя без всякого зазора, что иначе им придется идти на дорогу с разбойным делом. Надо было снаряжать войска, нанимать иноземцев – и повсюду развозили призывные грамоты с мольбою о деньгах, хлебе, сукне и всяком запасе. Давали, сколько возможно, но всего было мало. С неимущих посадских требовали по сто семидесяти пяти рублей посошных, а они умирали с голоду. Кроме того, местные воеводы немало думали и о своей пользе и, якобы в рвении своем к государству, не жалели крутых и жестоких мер к взысканию пошлин. Во всех городах торговые площади оглашались воплями людей, выведенных на правож. Ежедневно в течение двух часов их на площади били

палками по ногам и продолжали это дотоле, пока кто-либо, сжалившись, не выкупал их, платя недоимку. Впрочем, через четыре недели ежедневного истязания несостоятельного отпускали, но вряд ли бывали примеры такой исполинской выносливости.

В то же время монастыри один за другим выпрашивали себе льготы от повинностей, и благочестивая Марфа не только освобождала их, но нередко отписывала им даже вотчины.

Для усиления доходов задумали везде строить кабаки, и казна сама взялась курить вино. Но много ли мог пропить нищий, не имеющий и на хлеб?

Служилые люди и боярские дети, не получая жалованья, разбегались, оставляя свои полки. Землевладельцы и люди посадские бежали от воевод и прятались по лесам, как дикие звери.

Стрелецкие полки были полны своеволия, и надо удивляться, как смогла Русь отбиться от поляков во время вторичного их прихода с Сагайдачным. Все-таки общее горе соединило сердца всех, и люди в момент опасности, как муравьи, сплывались дружно и неразрывно.

Немало понадобилось времени великому патриарху московскому Филарету, чтобы разобраться в делах государевых, и его сердце не раз обливалось кровью и сжималось тоскою. Уходя в молельню, он плакал в отчаянии и просил у Бога помощи, а потом снова с писцами и думными дяками принимался за тяжелый труд. Мысль, что обездоленная Русь видит в нем своего заступника, подкрепляла его. Задача сделать своего сына правителем мудрым удваивала его энергию, и после долгой работы он ехал в царские палаты и подолгу беседовал с сыном, подчинявшимся его гению.

Не было мелочи, до которой не доходил бы Филарет. Узнав, что его сын выдал головою Пожарского Борису Салтыкову, он распалился гневом и сказал сыну:

– На что посягнул! Кто твой Бориска, тобой за день возведенный в бояре, и кто князь Дмитрий Михайлович? Не его ли волею собраны дружины и изгнаны ляхи? Да и раньше он лил кровь свою под Москву, а и того раньше был отличен от прочих. И он, муж дивный, шел с непокрытою головою по двору этого Бориска! Позор! Поношение!

Михаил потупил голову.

– Награди его! – сказал патриарх.

И Михаил вновь обласкал Пожарского, пожаловав ему в вечное и потомственное владение село Ильинское в Ростовском уезде и приселок Назорный с деревнями, село Вельяминово и пустошь Марфино в Московском уезде и в Суздальском – село Нижний Лацдек и посад Валуи. Но не вернул он этим сердца доблестного воеводы.

Всполошились в Вознесенском монастыре; мать Евникия заохала, чуя приближение опалы на своих детей, а братья Салтыковы потемнели, как тучи, и неделю не казали глаз ко двору. Запечалился и царь Михаил и ради рассеянья поехал молиться русским святыням.

А патриарх продолжал свое трудное дело, чиня суд и расправу. Он приблизил к себе Федора Ивановича Шереметева, князя Теряева – Распояхина, Шеина, своего брата Ивана, и они подолгу беседовали о делах государства.

– Казну, казну увеличить прежде всего, – твердил Шереметев.

– А с чего?

– Отдай в откупа сборы податей, кабаки отдай, соль обложи, все что можно. Слышь, проездное возьми, опять, за провоз.

– Тяжко! С кого брать? С неимущего?

– Это вконец разорит Русь – матушку, – с жаром заметил Теряев.

Филарет ласково взглянул на него.

– Ишь вспыхнул! Вот таким я отца твоего, Петра Дементьевича – царство ему небесное – знал!

Все встали и перекрестились.

– А я все свое, – повторил Шереметев, – соберем казну, отобьем, тогда всем полегчает и все с лихвой вернем.

Филарет решительно встал.

– Ин быть по – твоему! – сказал он. – Начнем с налогов. Только допрежь всего хочу перепись учредить. Обмозгуй, Федор Иванович, до приезда царя.

И началось залечивание тяжелых ран России, нанесенных Смутным временем и анархией. Сильнодействующими были лекарства, приложенные к больному телу, и поначалу застонала Русь под властной рукою, но великие деяния великого деятеля принесли свои плоды и на время успокоили и осчастливили Русь.

Первая перепись в России всполошила все население. Едва приехал царь из своего паломничества, патриарх уговорил его на это дело, и писцы, дьяки и воеводы деятельно принялись за тяжелую работу, составляя платежные книги, закрепощая людей и, между прочим, кладя первое прочное основание крепостному праву. По этим записям крестьяне, приписанные к вотчине какого-либо боярина, уже оставались закрепленными за ним без права перехода к другому, в то же время боярин приобретал над своими крепостными неограниченную власть.

VI Спаситель

У храброго капитана рейтаров {Рейтары – вид тяжелой кавалерии.} Эхе трещала голова в вечер торжественного дня въезда митрополита Филарета в Москву. Он и сам не понимал, как снова очутился в рапате Федьки Беспалова. Швед сидел на лавке, рядом с ним, положив голову на стол, дремал тощий дьяк с сизым носом, тут же стояла огромная ендова водки; с другой стороны Эхе пьяный ярыжка, видимо, пил за счет капитана, а в рапате были те же размалеванные женщины, скомороший пляс, крик, песни и удушливый дым от трубок.

– И вовсе ты – не дьяк, сизый нос! – кричал ярыжка, видимо, чем-то задетый за живое. – У дьяка сума толстая, как брюхо, шапка бобровая, кафтан суконный, а ты как есть оборыш какой-то и шапку потерял!

– Яко пес брехающий! – подымая голову, ответил дьяк, на миг протрезвляясь. – Язык плете, сам не разбере. С полгода назад я тебя в яме сгноил бы, на правеже забил бы, ибо был при пушкарском приказе отписный дьяк. Вот тебе, волчья сыть!

– А звать тебя?

– А звать меня Онуфрием Дуковиновым!

– И врешь же ты, бесстыжие твои глаза! – с жаром вдруг вмешался в спор усатый стрелец. – Всех-то я наперечет сам знаю, и дьяк-то там сыспекон веков – Федор Епанчин да Василий Голованов, ты же – просто отписчик из аптекарского приказа, а за пьянство тебя Федор Иванович Шереметев палкою бил и со двора согнал.

– Ого – го!.. – загоготал ярыжка. – Пей, немчин, на посрамление его. Ай да дьяк! Пьяница окаянный!

– Не пьяница я, брехун злоязычный, – заплетающимся языком ответил дьяк, – то есть не пьяница, иже упившись ляжет спать; то есть пьяница, иже упившись толчет, биет и сварится! {Скандалит.}

И с этими словами он опустил голову и захрапел.

– Водки! Табаку! Гуляй, душа! – раздалась в это время буйные крики, и ватага полупьяных, оборванных людей вломилась в рапату.

Рыжий детина, что стоял у бочки за целовальника {Целовальник – здесь: продавец вина.}, мигом скрылся.

Толпа бросилась на бочку, поставила ее» на попа», и огромный мужик, выскочив вперед, могучим ударом выбил у нее днище.

– Го – го – го! Ой, любо! Братики, и мне! – загоготал пьяный ярыжка, выскочив из-за стола.

В это время в горницу вбежал сам Федька Беспалый. Его лицо было бледно, волосенки растрепаны. Он поднял руки вверх и жалобно завопил:

– Смилуйтесь, люди добрые! Мало ли вам дарового от царя – батюшки выставлено! Почто меня, сиротинку безродного, животишек решаете!

– Угощай во здравие царей! – кричали пьяные голоса.

– Ой, бедная моя головушка!

– Ребята, вали в погреб! У него, собаки, и меды для бояр запасены!

Федька беспомощно замахал руками.

– Добрый воин, помоги! – обратился он к Эхе, – порешат они мое добро, ой, порешат!

– Я вам все покажу. За мной, ребятки! – закричал ярыжка.

– Ой, не слушайте его, оголтелого! – возопил Федька, – сам меда, сам бочки выкачу!

В горнице творилось нечто невообразимое. Размалеванные женщины, скоморохи, гулявшие гости, все присоединились к пьяной ватаге. Иные подле бочки торопились покончить с

водкою, другие, открыв рундучок, набивали табаком себе карманы, третьи, обнявшись с женщинами, стремились выбраться за буяном к хозяйскому погребу.

Эхе сразу протрезвился, и у него вдруг выросла и окрепла мысль, раньше едва мелькнувшая в его голове. Он выпрямился во весь свой богатырский рост, положил руку на нож, другою зажал пояс, оберегая деньги, и двинулся в толпу, скучившуюся у дверей. Два ловких поворота плечами – и капитан без труда очутился на дворе, по которому, направляясь к погребу, уже бежало несколько оборванцев.

Эхе быстро перешел двор, обогнул избу и вошел в сад, прямо направляясь к сараю, который подглядел прошлой ночью. При слабом свете летней ночи он скоро увидел его и нашел дверь, запертую всяким замком. Не долго думая, он вынул нож и быстро стал щепать им дерево вокруг пробоя. Скоро пробой уже еле держался. Эхе подложил нож и сильным тычком сорвал пробой, после чего распахнул дверь и вошел в сарай.

В сарае было темно. Смердный воздух после благоуханий сада закружил ему голову; под ногами зашуршала солома.

– Мальчик, мальчик! – позвал капитан в темноте, чувствуя, что какие-то живые существа возьтятся в этом смрадном и темном помещении.

– Здесь, дяденька, – пискнул чей-то слабый голос, – ты кто будешь?

– Глупый! Иди сюда! Я тебя увести хочу, – ответил Эхе.

– Дяденька, и меня! Родименький, и меня! И меня, и меня! – слабо зазвенели детские голоса с разных концов, и Эхе в недоумении остановился, разведя руками.

– Постой, дяденька, я огня засвечу! – нашелся один из ребят и, к удивлению капитана, в углу сарая сперва слабо замерцал огонек, потом разожглась и загорелась лучина.

Эхе осторожно прошел в угол, взял лучину и вздрогнул. На клочках гнилой соломы сидел безногий мальчик. Его маленькое лицо было сморщено в кулачок, глазки слезились, и, протягивая лучину Эхе, он олицетворял собою тупую покорность.

– Ты кто же, мальчик? – спросил участливо Эхе.

– Я?.. Я не знаю... – ответил ребенок. – Взяли меня давным – давно, украли и привели сюда. Тут мне ноги жгли, потом крутили их, пока я не обезножел, и теперь меня Федька Беспалый нищим дает за четыре гривны. Сухоногим зовут меня. Меня он испортил.

– И меня! У меня глаз выжгли!

– А мне руку вывернули! – раздалась опять детские голоса, и тени оборванных, полунагих детей окружили шведа и тянули к нему свои ручонки.

А из-за стен сарая со двора доносились крики, ругательства и пьяный смех.

У Эхе зашевелились волосы на голове.

– Бедные дети! – сказал он. – Мне нужен один мальчик, которого вчера сюда дали вам!

– Это Мишутку тебе! – хором воскликнули мальчишки. – Вон он в углу лежит. Огневица с ним. Мишутка, за тобой добрый дядя пришел!

Но из угла никто не отозвался на этот оклик.

Эхе подошел с лучиною к углу и увидел на соломе раскинувшегося в жару того мальчика, которого вчера вечером привел скоморох к Федьке Беспалому. Он быстро нагнулся и поднял его на свои сильные руки.

Он собирался уже уходить, но в этот момент новая мысль мелькнула у него.

– Слушай! – сказал он всем. – Я не могу взять вас всех с собой, но вы одни и дверь открыта. Не бегите через двор, там пьяные, а бегите через забор и вон! Ведь лучше, чем здесь!

Безногий мальчик застонал от скорби и ужаса, но Эхе тотчас услышал бойкий голос другого мальчика:

– Не бойся, Сухоног, я возьму тебя на плечи и выволоку. Будем жить вместе... Лазаря мы петь горазды.

Маленькие тени друг за другом стали выходить из дверей и крались через сад. Здоровый мальчуган лет тринадцати пронес на плечах Сухонога и скрылся. Эхе дождался, пока не ушли все до последнего, и, бережно взяв больного мальчика на руку, с ножом в другой двинулся из сада. Он не знал другой дороги, как через двор, и решил идти по ней.

В это время пьяные крики перешли в дикий рев. Эхе увидел огоньки, зайцем пробежавшие по мховым стенам избы, и вдруг зарево осветило сад, двор и ватагу пьяных людей, с диким ревом глядевших на Федьку Беспалого, который метался, как безумный, то подбегая к горящему зданию, то отскакивая от него.

Эхе, не привлекая к себе внимания, благополучно перешел двор и быстрым шагом направился по знакомой уже дороге через Рыбный рынок и овощные ряды. Пожар далеко освещал все окрестности. С Москвы – реки неслись вопли погорельцев, толпы внезапно отрезвившихся людей бежали на пожар, а Эхе торопился уйти от него дальше, бережно неся на плече ребенка.

Выбирая более трезвых людей, Эхе спрашивал дорогу в Немецкую слободу и скоро вошел в нее. Там были те же мховые избышки, но они стояли ровными рядами, образуя прямую улицу, на которой во все стороны шли узенькие проулочки, и на Эхе сразу пахло чем-то родственным.

Он смело постучался в ставень первого оконца.

Через несколько минут калитка скрипнула, и из нее осторожно высунулась стриженная голова. Эхе быстро заговорил по – шведски, потом ломаным немецким языком, объясняя, кто он и зачем сюда пришел.

– Иди, иди ко мне! – радушно ответил ему немец, впуская его в калитку. – Я – здешний цирюльник Эдуард Штрассе, с сестрой живу! Милости просим; горенка найдется. Сюда, сюда!

Он запер калитку тяжелым засовом и ввел гостя в чистую горенку.

Эхе тотчас положил ребенка на лавку, подсунув ему под голову свою епанчу, и огляделся.

В горенке стояли незатейливый шкаф и поставец подле него с несколькими кубками и чарками, у стены был стол, покрытый чистой скатертью, и несколько табуреток; над ним на полке стояли банки с пиявками, ящик – вероятно, с ланцетами – и несколько склянок с разноцветными жидкостями; по другой стене тянулась лавка, и над нею висела одинокая скрипка, а в углу – в ногах больного мальчика – стоял собранный скелет. Эхе тяжело опустился на стул, в то время как цирюльник наклонился над мальчиком.

– Благодарю тебя! Я никого тут не знаю в целом городе и пропал бы, если бы не ты.

– Ну, ну! Каждый из нас дал бы тебе приют. Мы все знаем, что такое одиночество среди этих дикарей, и потому живем очень дружно! Сегодня мы заперлись так рано потому, что русских боялись. Они пьют сегодня, а как напьются, то бывают очень буйны и часто к нам пристают!

– Что с ним? – тревожно спросил Эхе.

– Так, маленькая горячка, лихорадка, по – ихнему, – цирюльник усмехнулся, – огневица! Они, – он обратил к Эхе свое добродушное лицо с лукавыми глазами, – эту болезнь лечат, spryskivaya водой с уголька, ну а мы питье даем, а потом натираем, чтобы испарину вызвать. Вот Каролина это все делает!

Он встал и вышел, а через минуту вернулся с высокой белокурой девушкой. Она, вспыхнув под пристальным взглядом Эхе, сделала ему книксен, а потом быстро повернулась к мальчику и нежно поправила его сбившиеся волосы:

– Откуда у вас такой птенчик? – спросила она.

Эхе рассказал все, что знал о мальчике.

На глазах Каролины выступили слезы.

– Бедный, бедный мальчик! Я буду ходить за ним, как за своим сыном.

– Смотри, не загадывай! – усмехнулся цирюльник.

– Глупый! – вспыхнула Каролина и, взяв мальчика на руки, унесла его из горницы.

– Сделай все, как я сказал, – крикнул ей вслед ее брат, а потом обернулся к Эхе и сказал ему: – Большое беспокойство вы на себя взяли с мальчиком. Несомненно, он краденый... может быть, и знатного рода, и беда, если вас поймают с ним. У русских, что вы им ни говорите, правду только в застенке узнают. Сколько там наших погибло, сами на себя наговаривая.

Эхе нахмурился.

– Что я мог сделать? – ответил он. – А от судьбы не уйдешь!

– Так, – сказал цирюльник и спохватился: – Ох, мой Бог, что же вы не разденетесь! Мы вас здесь положим. Постель сделаем. Пожалуйста! В доспехах тяжело.

Эхе не заставил себя просить и, отстегнув пояс, быстро снял латы и тяжелые сапоги и остался босиком в синих рейтузах и кафтане.

Штрассе встал, снял с поставца две чарки, вынул из шкафчика плетеную бутылку, кусок рыбы, хлеб, сыр и, поставив на стол, сказал:

– Милости просим... закусите, а потом выпьем вместе и вы мне расскажете про себя.

И тут Эхе не заставил себя просить и, работая челюстями, в то же время рассказывал свою несложную биографию. С пятнадцатилетнего возраста он все на войне. Был он во Франции, потом – в Италии, потом ушел оттуда, поступил к Понтусу Делагарди и с ним не расстался. Сперва со Скопиным они поляков били и воров; потом к полякам перешли и здесь, в Москве, под началом Гонсевского сидели, потом опять поляков били, а потом уже от себя взяли Новгород. Тут Делагарди ушел, Горн остался. Вышло с русскими замирение. Эхе ушел в Стокгольм, а потом соскучился без дела. Генерал Делагарди воевать уже не хочет, а здесь, слышь, всегда хороший солдат нужен, ну, он и пришел наняться.

– Есть ведь здесь иноземные генералы? – спросил он.

– Есть! Как же! – ответил Штрассе. – Вот хотя бы наш полковник Лесли! И воины нужны. У них чуть ни год – то война.

– Лесли! – воскликнул Эхе, и его глаза оживились. – Да я же знаю его и он меня! Вместе с ним под Клушином были!

– Ну вот и хорошо! Завтра нельзя – верно, у них все еще пирование будет, а через день я хоть сам тебя к Лесли провожу, – сказал Штрассе и, вставая, прибавил: – Ну а теперь и спать можно!

– Благодарю тебя! – ответил Эхе.

Штрассе ушел, вернулся и, устроив постель для Эхе, ушел окончательно. Эхе разделся, вытянулся на лавке и заснул богатырским сном.

Спустя два дня Эхе виделся с Лесли, и тот, приняв его на службу, послал в Рязань для обучения стрельцов строю.

Миша уже выздоровел, Эхе хотел взять его с собою, но Каролина, краснея, стала просить оставить мальчика у них на время. Эхе согласился и, купив коня, тронулся в путь.

Дорогою он думал о цирюльнике и его сестре.

«Гм... – решил он в конце своих дум, – она оставила у себя ребенка, чтобы меня видеть! – и при этой мысли лицо его осветилось счастливой улыбкой. Потом он стал думать о Мише. – Непременно надо найти его родителей!» – решил он, но в то же время вспомнил предостережение Штрассе, и страх проник в его душу – теперь не за себя уже, а за доброго цирюльника и его красивую сестру.

VII СЫСК

Если князь Теряев – Распояхин, отчасти движимый честолюбием, отчасти в силу своего темперамента, не вложил своего меча в ножны и даже приблизился к царскому трону, то – в совершенную противоположность ему – его друг, боярин Терехов – Багреев, совершенно отшел от мирских дел и почестей и, осев в своем доме, превратился в истового семьянина, степенного боярина, типичного представителя того времени, богатого человека не у дел. Поселился он со своею любимою женой в хоромы покойного тестя, князя Огренева – Сабурова, еще более увеличив их и украсив. Он окружил себя многочисленной челядью, над которой экономом поставил старого Савелия, а над бабьим царством неизменную Маремьянику, бывшую кормилицу Ольги Степановны, его жены.

Много натерпелся Терехов с женою, тогда его невестою, во время смут и разорения, и теперь они словно отдыхали душою. На радость их, на счастье, росла у них четырехлетняя дочь Олюшка, оглашая своим лепетом терем и девичьи. Обручили они ее по стовору с сыном князя Теряева – Распояхина, и не было у них ни дум, ни забот, кроме тихого наслаждения жизнью.

Даже от почетной должности губного старосты отказался боярин:

– Кланяюсь низко за высокую честь, господа честные, а только не по мне сия тягота великая, – сказал он просившим его принять на себя эту судебную должность. – Живу я со всяким в мире и добром согласии, а тогда и ссора, и зависть, и корысть. Простите, Христа ради! – и, угостив выборных и наделив по обычаю подарками, он отпустил их с честью, проводил без шапки до самых ворот.

Тихо и мирно протекала жизнь Терехова. Рано поутру поднявшись с постели, собирал он всю свою челядь и со своею женою шел в церковь, стоявшую на его дворе, там все слушали заутреню, которую пели священник Микола и дьячок Пучеглазов. Потом каждому боярин наказывал работу на день и шел с Савелием по кладовым и амбарам, по клетям да подклетям, блюдя и пересчитывая добро. А тем временем жена его с Маремьянихой задавала сенным девушкам работу; после чего и сама Ольга Степановна садилась за пяльцы.

Два часа спустя снова шли все в домовую церковь и слушали обедню, после чего до обеденной поры боярин занимался своими делами. Говорил ему Савелий про домашние дела и делишки, и Терехов чинил над своими холопами и суд, и расправу; приезжали из его вотчины: из-под Москвы, из-под Калуги люди со своими челобитьями, заказами, когда с данью или подарком, и боярин слушал их, кого награждал, кого за волосы трепал и наконец в полдень шел обедать со своею женою, если гостя не было. Обедал он плотно, сытно, запивая медом и винами жирные блюда, хотя в постные дни берегся от всякой снеди и чтил каждый пост неукоснительно. После обеда он ложился на пуховые перины в своей горенке и спал до вечерни.

В то время как его храп оглашал покои от низа доверху, спала и его супруга в своем тереме, спала и вся челядь по своим клетям – все, кроме сторожа у ворот да мамушек, что доглядывали за боярскою дочкою.

Просыпался Терехов и шел к вечерне; отстояв ее, он уже весь отдавался семейной жизни, принимал гостей, играл в тавлеи {Шашки.}, в шахматы, слушал захожего странника, а иногда шел в терем к любимой жене и там прохлаждался.

Каждый год в декабре месяце в память дня, когда он нашел свою Ольгу, Терехов устраивал великое пирование. Выходила тогда Ольга Степановна с заздравным кубком для каждого гостя и что ни раз, то в новом сарафане, и диву давались гости, глядя на богатство Тереховых.

Наверху в терему шло женское пирование, внизу угощал всех боярин, и никто из его пира не вставал сам: всех потом люди по домам развозили, и, очнувшись, каждый находил у себя

подарок; кому плат, кому соболя, кому ручник вышитый, кому шапка, а воеводе да губному старосте, да стрелецкому голове дорогие кубки или ковшики.

Близким другом у боярина был Семен Андреевич Андреев, деливший с ним труды в Смутное время, а его жена, Пелагея Федоровна, почти не уходила из терема боярыни.

С такой покойной жизни раздобрел боярин Петр Васильевич; как оденется он, бывало, в парчовый кафтан с воротником выше головы, а поверх его накинёт шубу соболю, наденет шапку бобровую в аршин вышины да пойдет переваливаясь, на высокую трость опираясь, по рязанским улицам, – всякий перед ним сторонится, шапку ломает, низкий поклон отдает. Раздобрела и Ольга Степановна, и смутным сном ей уже казались волнения и страхи, когда она спасалась с Пашкою от рук Ходкевича.

Не так, как Терехов, устроил свою жизнь Андреев. Счастлив и он был, но на иной лад. Любя ратное дело, он скоро был выбран стрелецким головою и не покладая рук работал, то выходя на ловлю разбойников, то прикрепляя к земле тягловых людей {Тяглом в московской Руси называлась податная обязанность более или менее осевших состоятельных хозяйств по отношению к государству. (Примеч. авт.)}, то помогая воеводе собирать подати да недоимки.

В вечер, с которого ведется этот рассказ, Андреев после вечерни, придя в гости к Терехову – Багрееву, застал у него еще двух гостей, что было делом довольно редкостным. Сидели у него сам воевода рязанский, боярин Семен Антонович Шолохов, да губный староста, дворянин Иван Андреевич Сипунов. Шолохов был статен ростом и красив лицом. Черная короткая бородка округляла его полное лицо, и он казался добрейшим человеком; но в действительности купцы да посадские люди знали, как обманчив его вид, когда он без торга набирал себе товара или на правеже выбивал по третьему разу один и тот же посошный налог. Не было тогда зверя лютее воеводы. Губный староста был, напротив, человеком мягкого, покладистого характера, ума острого, но безвольного, и только неподкупная честность выделяла его из среды служилых людей. Они чинно сидели за столом и вели беседу, запивая домашним малиновым медом, когда вошел Андреев.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.